

Руслан ГАМАЗОВ

ПЕЧАЛЬНЫЙ МОТИВ



Коррида

НА ХОЛСТЕ



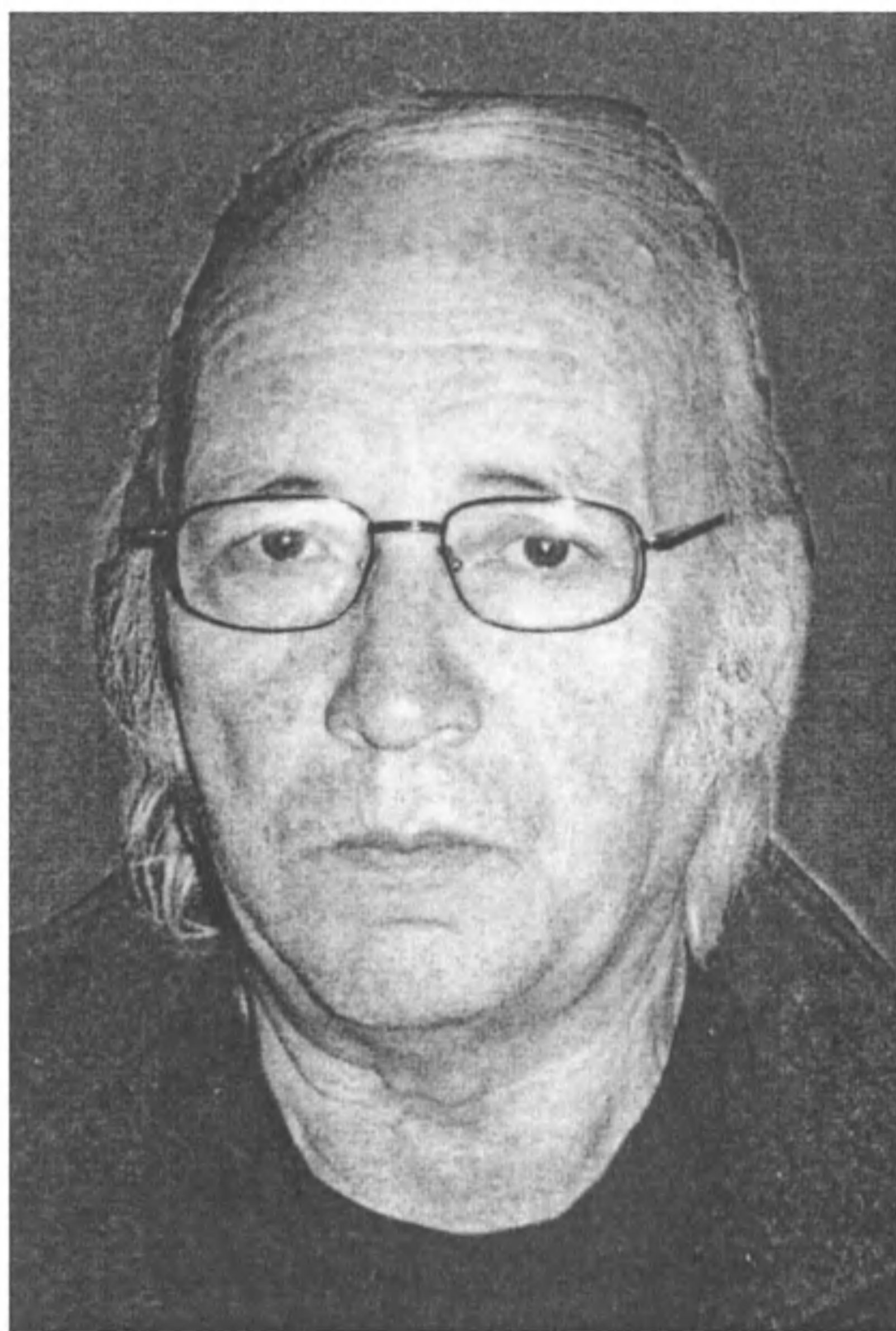


Отсканировано  
в марте 2015 года  
специально для эл. библиотеки  
паблика «Бæрзæфцæг»  
(«Крестовый перевал»).

---

Скангонд æрцыд  
2015 азы мартыйы  
сæрмагондæй паблик  
«Бæрзæфцæг»-ы чиныгдонæн.

<http://vk.com/barzafcag>



*Руслан ГАЛАЗОВ*

*Коррида*  
НА ХОЛСТЕ

ВЛАДИКАВКАЗ

2005

84Р6

Г-15

**Галазов Р.**

**Г-15            Коррида на холсте – Владикавказ:  
Издательско-полиграфическое предприятие  
им.В.Гассиева, 2005 - 122 с.**

**84Р6**

**ISBN 5-7534-0816-8**

**© Р.Галазов, 2005**

**© Т.Ф.Алипченкова, оформление, 2005**

## ПРОРЫВ

С Русланом Галазовым я знаком полвека. Осетин «московского разлива» он удивлял меня способностью быть своим и ничьим в любой компании. Меня это раздражало, пока я не понял, что он человек планеты – визы и границы он воспринимает как рудимент необходимый сегодня и смехотворный завтра, ибо при всей персональности видов, к общему знаменателю когда-то прийти придется, и не отдельно взятому государству, а человечеству в целом!..

Поэтому выпускник МГУ, журналист, писатель, художник и мыслитель Руслан Галазов, воспитанный на шедеврах русской, европейской и классике Нового Света – культурный атташе всех стран и народов при Дворе Собственного Величества, а точнее, в рукописях и полотнах, к счастью, мало известных в пространстве рекламы и саморекламы, но знаковых для людей, способных разглядеть за броской патиной «лейбла» монохромность полотен старых мастеров кисти и пера. Большую часть своей жизни Галазов прожил в СССР и, проклиная «гулаги», он не проклял священный энтузиазм и веру народов в ценности коммунистических идей, вошедших в трагическое противоречие с «прелестями» капитала, – не без помощи невежества последователей марксизма, пятых колонн и прочих сил, исповедующих рычаг купли-продажи, как основной в комбинации божественного замысла.

В МГУ у Руслана был друг, испанец, и когда его дети в Москве на пике перестройки и вакханалии шовинизма стали приходить со школы избитыми как ЛКН, Руслан улетел с семьей в Испанию.

Свою первую книгу очерков и рассказов Руслан опубликовал в начале 80-х, последнюю – в 2005 году. Есть писатели, которые как бы прибавляют в росте.

Галазов из числа тех, кто упорно продолжает однажды начатое. Исключительное знание человеческой природы, снайперская точность характеристик; в лучших работах – идеальный взвес, баланс приемов, красок, запахов; в работах «без присмотра» – рубенсовская щедрость и эпатаж, чтобы читатель за развитием сюжета не забыл об авторе...

Не буду проводить искусствоведческий анализ работ Галазова, но и первые его вещи и те, что я читаю сегодня, переводят географию из области миль и километров в область феноменологии, где все постижимо и таинственно, при этом все, о чем пишет Галазов – хроника, пережитое и даже вымысел, у него в конце концов оказывается живой водой когда-то фонтанирующей памяти, но не упражнениями фантаста.

За порогом пятидесяти Руслан стал рисовать. Потом живописать. В Испании писал, на чем попало, даже на поверхности старой двери... «Снимай все, что покажется тебе интересным, – говорил Р. Кармен оператору Ошуркову, когда они ступили на землю Кубы, раскаленную до нестерпимости командой Фиделя. – Завтра мы привыкнем, и пропадет острота восприятия», – продолжил мастер свою мысль и был, очевидно, прав. Руслан Галазов хоть и похож на бизона, на Испанию не «оторвался». Работал вдохновенно, но без суеты, может, поэтому его работы – не эврика и не хронология, а скорее взгляд Ахсара на Ахсартага, Колумба на бриг с которым он когда-то пришвартовался к Америке, смертного на воскресшего!.. Работы, известные мне, лишены экспрессии, как буффо-

нады в традиционном наборе корриды, фламенко и страстей потише, – скорее они семейный портрет Испании испанцев, откачанный корнями осетина из родников «Озе ьего источника», молниеносных прозрений Эль Греко, мудрой степенности Кихота перед сонмом мельниц, придающих романтический флер подвигам «рыцаря печального образа».

Вернемся к литературе. Страшен контрапункт жизни и смерти в рассказе «На другом берегу». В свое время частый гость центрального Дома литераторов, Дома журналистов, Галазов с вольтеровской иронией высмеивает околотературный «бомонд», а в рассказе «Болдинская осень» вся рать писательской братии входит в жесткий конфликт с реалиями жизни и звучит как приговор праздности на борту вспоротого и обреченного «Титаника» уже агонизирующей империи. Метаморфоза рассказа «Розыгрыш» убеждает, что жизнь, судьба и страсти непредсказуемы, а короткий рассказ «Жажда» трубит во все трубы, что человек прекрасен человечностью, хотя рассказ этот очень «тихий», с минимумом выразительных средств, но филигранной прописью всей миниатюры, звучащей, как ноктюрн и как скол оратории. Большая удача, буквально прорыв – записки эмигранта Галазова сочетанием мастерства и одержимости. Галерея портретов здесь достойна литературного аналога лучших художественных музеев мира; каждая картина в драматургических узлах, ссадинах и шрамах коллизий; деликатность оценок без фамильярности и нахрапа; цепкое и крепкое владение формой, нелинейная логика повествования, близкая зондажу не туриста, но следопыта и первооткрывателя Купера и Лондона – все это многообразие, тяготеющее по плотности материала к роману, повторяю, – прорыв через звуковой барьер вторичности, ибо удивлять сегодня читателя и зрителя дело фокусника; труд писателя, а шире – творца, становится еще проблематичней – планета пере-



гружена товаром и покупателями, к тому же товар, в основном, контрафактный, а покупатель – невежествен.

Прекрасен у Галазова эпизод с монастырем Сан-Лоренцо де Эскуриал. «Я подошел к холсту. Белый квадрат его смотрел на меня вызывающе», – пишет Руслан Галазов. Вещь называется «Коррида на холсте». Хорош матадор. Широкоскулый, похожий на бизона, не с самим ли собой ведет он поединок, влюбленным в человечество и человечность!..

Герман ГУДИЕВ

## Записки эмигранта

Работа – спасенье от всех бед.

*Эрнест Хемингуэй.*

Надеюсь, читатель, даже если он утонченный сноб, не осудит меня за то, что я начинаю это повествование с обыкновенной мусорки. В самом деле, что хорошего в куче ненужного хлама с пищевыми отбросами, где ковыряются уличные собаки, кошки и нынешние бомжи как живой укор социальному. Видимо, мое сострадательное отношение к тем, кто ковыряется в мусорках, из всех моих детей больше унаследовала младшая дочь. По этой причине наше и без того многодетное семейство пополнилось разными четвероногими друзьями, подобранными ею на мусорке. Чаще это были жалкие и беспомощные котята. Она холила их, лелеяла, проявляя к ним такую редкую ласку и заботу, что я как родитель невольно ловил себя на мысли: «Это хорошо, дочь моя, но почему у тебя ко мне нет такой же заботы, хоть я, может, не самый лучший отец?» И отвечал себе: «Может, оттого, что четвероногие твари в отличие от меня не навязывают и не твердят детям, возможно, устаревшие принципы, не нудят, не попукают, не читают давно наскучившую мораль». Короче, здесь мне было чему поучиться у четвероногих – тема достойная, на мой взгляд, исследования в области педагогики.

Но речь пойдет о том, какую роль сыграли в моей жизни обыкновенные квартирные двери. Их было с



десяток, и все они были грудой свалены поверх мусорки. Видимо, кто-то избавился от них по причине капитального обновления своего жилья. Позже, когда я стал художником, на вопрос, как это мне удалось, я отвечал туманно: «Мне открыли путь в живопись двери». И в этом не было особого преувеличения.

Был жаркий летний полдень. Я возвращался с покупками из магазина по пыльной проселочной дороге домой и, как всегда, по пути размышлял о разном – время есть, до дома пешим полтора-два километра. Помню, в то время в голове у меня была только одна мысль – как бы успеть приготовить к приходу детей из школы обед. Тогда, впрочем, как и сейчас, я был безработным, если не считать временную шабашку на частных стройках в качестве пеона, из тех, кто готовит раствор из цемента – берет больше, кидает дальше. Где-то с неделю работал в одном из баров шансонье с обширным репертуаром, начиная от известных миру песен «Очи черные», «Подмосковные вечера» и кончая популярными «Бесаме мучо» и грузинской «Сулико». Аккомпанировала мне на фортепиано жена. Я же был обыкновенным любителем из тех, о которых говорят – прижмет, еще не так запоешь. К моему удивлению, посетители бара иногда меня вызывали даже на бис, и я видел, как счастливы были моя жена и хозяйка бара. Они иногда подшучивали надо мной: «Дорогой наш, у тебя хороший голос и есть будущее, ведь Эдит Пиаф и Шарль Азнавур тоже начинали с кабаков...» Но бар вскоре закрылся, и у меня не осталось шансов стать знаменитым шансонье. Мне всегда нравилось петь что-нибудь из басового репертуара, подражая Шаляпину. Вскоре из неудавшегося шансонье я переквалифицировался в nocturnal

го сторожа дискотеки. В этом мне помог местный «Каритас», которому я готов посвятить оду, или поставить памятник в виде большого дерева, щедро дарящего свои плоды тысячам беженцев из разных стран. Работу эту вполне можно было назвать «синекурой». В мои обязанности входило заполнять на ночь морозильник льдом, вывозить контейнеры с мусором на обочину трассы, чтобы утром их увезли на машине мусорщики. За полночь надо было осмотреть всю территорию дискотеки в компании с местным сторожилкой, удивительно симпатичным и умным псом по кличке Чарли. Это на случай, если обнаружится какой-нибудь воришка или подозрительный тип.

– Ну что, Чарли? – закончив осмотр территории и, как всегда, не обнаружив ничего подозрительного, обращаясь к своему компаньону, потрепав его по загривку. – В мире покой, тишина, воров нет, террористов тоже, в небесах, как сказал поэт, торжественно и чинно. Как ударник каттвуда, ты заслужил отдых у камина с огнем. Как-никак осень, ночная прохлада.

Я брал из бара бутылку несравненной «Риохи» или что покрепче и, выпив, ложился на раскладушку. Глядя на огонь в камине, я предавался чаще воспоминаниям о прошлой своей жизни, представляя знакомых, друзей, ближайшее родство, мысленно спрашивая: «Как вы там, в перестроечном мире? Не утратили веру в новое будущее?» И я бы, может, продолжил работать на почетной должности, если б однажды хозяин дискотеки не сказал мне: «Вы хорошо справляетесь со своей работой, сеньор, но у меня новый бизнес, и я вынужден сократить штат работников с целью экономии». Признаться, мне больше жаль было расставаться с Чарли, чем с хо-



зьяном дискотеки. Все-таки с Чарли я немало делился мыслями и, кажется, он понимал меня. Незабываемой для меня была работа по уходу за престарелыми, которую подыскал для меня местный «Каритас». Одному из престарелых было уже за восемьдесят, у него были парализованы ноги, и он мог передвигаться только на инвалидной коляске. Его звали Пепе. Он был банковским служащим и сделал неплохую карьеру. Со своей супругой, сеньорой Мариной, они воспитали трех сыновей и радовались на старости еще и внукам. Сыновья отличались благородством, восходящим до того редкого рыцарства, которое в представлении мира связано с испанским характером. И все же Пепе был всегда грустным – жизнелюбивый по своей природе, наделенный юмором и артистизмом, внешне, несмотря на почтенный возраст, похожий на сенатора эпохи расцвета Римской империи, он, видимо, никак не желал примириться со своей болезнью, которая сделала его неподвижным и беспомощным. Улыбка появлялась на его лице чаще в тех случаях, когда его навещали сыновья с женами и внуками, когда принималась за ним заботливо ухаживать супруга и когда, чтобы как-то развлечь его, я начинал петь песни из того репертуара, что и в баре. Тогда бледное лицо сеньора Пепе озаряла необыкновенная улыбка, он на глазах молодел и начинал мне охотно подпевать на удивление звонким и чистым тенором, беря самые высокие ноты. С ним одинаково озарялось счастливой улыбкой лицо сеньоры Марины, и как-то в шутку она заметила:

– Пепе, я все о тебе знала, но никогда не думала, что у нас в доме есть свой Пласидо Доминго.

– О, ты еще многого обо мне не знаешь, – отвечал дон Пепе, лукаво подмигивая мне.

– Знаю, знаю, – возражала сеньора Марина. – Наверное, не одной напевал серенады под гитару.

Его сильно мучил артрит, и однажды он мне признался:

– Русито, когда ты поешь, у меня проходит боль. У нас говорят – песня изгоняет из души дьявола.

– Будем изгонять дуэтом, – сказал я. – Только дайте мне знать, когда дьявол начинает лезть к вам в душу.

– Почему же дуэтом, – сказала донья Марина. – Можно трио. Я тоже люблю петь. – И она тут же напела вполне приятным голосом испанскую народную песню.

Я ухаживал за Пепе два летних сезона. Я очень привязался к нему и ко всему его семейству, чувствуя себя с ними вроде как в родстве. Перед началом третьего летнего сезона я позвонил им, чтоб узнать, когда приступать к работе, и в телефонную трубку услышал незнакомый голос сеньоры Марины:

– Пепе умер, – сказала сеньора Марина со слезами в голосе.

И мне тоже комок сдавил горло.

Читатель, надеюсь, меня не осудит, если от печального я вернусь к знойному летнему дню, когда по пути к дому я и обнаружил для себя клад – те самые квартирные двери поверх мусорки.

Я долгое время оставался без работы и не знаю, то ли отчаяние, которое часто охватывало меня, то ли какой-то спасительный инстинкт сработал, меня озарило неожиданной идеей: «Это же готовые холсты, – подумал я, разглядывая двери. – Разрезать их на нужные форматы, и получится не менее трех десятков холстов. Надо только купить краски и кисти подешевле».



Я поспешил домой и принялся наспех готовить обед к приходу из школы детей. Это стало еще одной моей профессией — быть домашним поваром. За короткий срок я хорошо освоил азы приготовления различных блюд, включая испанские. Но коронными моими блюдами, по словам моего семейства и наших друзей-испанцев, были борщ и запеченная в духовке курица с картошкой. Кроме этой обязанности я взял на себя всю домашнюю работу, исключая стирку, за меня это делала стиральная машина, которую я как-то тоже извлек из мусорки. Хочу сказать, что интерьер нашей квартиры был обставлен еще и за счет самого искреннего и вполне, можно сказать, родственного расположения к нам наших испанских друзей. Я как мог старался компенсировать то, что порой живу вместе с детьми на иждивении жены, нашей кормилицы. Сейчас, спустя годы, я понял, что был не всегда прав, когда чем-то был недоволен в новой для себя стране — той же безработицей, или временной работой не по своему призванию, хотя никто не мог пожаловаться на то, как я справлялся с ней. Я утешал себя вполне, на мой взгляд, справедливой мыслью: «Тебя ведь никто не приглашал сюда. Если что-то не нравится, возвращайся в свое отечество и сражайся там теперь за другое светлое будущее...» Кого я мог винить?

\* \* \*

Своим призванием я считал журналистику. В юности, как многие, я пробовал писать стихи. А в младенческом возрасте очень живо и артистично пересказывал содержание прочитанных книг и увиденных фильмов, перевоплощаясь в образы персонажей. Хорошо писал в школе сочинения, их нередко

читал всему классу наш учитель по русскому языку и литературе Георгий Панаэтович, грек по национальности. Фамилию его, я, к сожалению, запомнил. Он был на редкость интеллигентным и образованным человеком, из тех людей, которых обычно воспитывают разные культуры – в его случае это были больше греческая и русская. Но сейчас, по прошествии многих лет, мне кажется спорным мое призвание, во всяком случае, в сравнении с моим запоздалым открытием в себе живописца. Для меня было очень важным понять истоки моего призвания именно к живописи и потому я невольно обращался к далекому своему прошлому, начиная с детства. Вспоминал себя младенцем в послевоенные годы в доме у моей тетушки Валентины в одном из близлежащих к окрестностям гор селе Нартыкау, куда меня отправлял на летние каникулы отец. На запотевшем оконном стекле я рисовал всевозможные фигурки людей и животных. Разгадывал фантастические образы в причудливых формах облаков, а ниже, в рельефе гор, часто угадывал сюжеты из мифологии. Иногда водил пальцем по воздуху, мысленно изображая что-либо. И уже позже, в школьные годы, учитель по рисованию выделял мои работы среди остальных. Но любопытнее было вспоминать другое – летние каникулы, но не у тетушки Валентины, а во дворе нашего городского дома с многочисленным соседством. Я частенько усаживался в тени старой груши, в густых кронах которой живо чирикали воробьи, и подолгу копировал с учебника истории портреты вождей и героев гражданской войны. Удачнее всех у меня получалось копирование портретов тех, у кого были попышней усы. Как-то, увлеченно копируя портрет Сталина, которого я, как и положено было для всех, любил, я ус-

лышал у себя за спиной восторженное восклицание:

– Вай мэ! Как живой, генацвале! – это был наш сосед, участковый милиционер Автандил. На редкость веселый человек, большой любитель выпить и поест. – Слушай, дорогой, продай мне портрет нашего Сосо. Я тебе деньги за него дам.

– Не надо денег, – великодушно отказался я, польщенный его признанием. – Я вам его дарю.

Бережно держа в руках копию вождя, Автандил продолжал восторгаться: – Слушай, в самом деле как живой. Ты настоящий художник. Как наш Тициан.

Позже выяснилось, что Автандил имел в виду не великого художника эпохи Возрождения, а знакомого армянина со схожей фамилией, только лишь с разницей в окончании – вместо «ан» у армянина было «ян». Этот художник обрел в нашем городе известность тем, что лучше других добивался сходства в изображении на холсте вождей, и по этой причине у него было немало заказчиков, если учесть, что в то время вождей любили все. На зависть многим, он жил материально куда благополучнее своих коллег. С легкой руки милиционера Автандила за мной на некоторое время закрепилось имя Тициан, чем я был неслыханно горд. Благодарный милиционер все-таки расплатился со мной не деньгами, а леденцами монпасье, что было в ту пору редким лакомством, если учесть, что сахар нам чаще в ту послевоенную пору заменяли сахарин, патока или жмых из спрессованных семечек. Была, говоря современным языком, заключена бартерная сделка. С той же легкой руки милиционера Автандила у меня появились заказчики на копии вождей, за которые со мной расплачивались нередко чем-нибудь съестным. Вскоре я почувствовал себя не только настоящим



художником, но и вполне самостоятельным членом нашей семьи. Отец и мачеха гордились мной. Мать моя, уже давно разведясь с отцом, жила в Москве.

Когда я переехал жить к ней, мои способности к рисованию заметила сестра, работавшая в то время уже художником кино. К тому времени я закончил семилетку, и она посоветовала мне поступать в московское художественное театральное-техническое училище. Удивительно то, что безо всякой подготовки я сдал на отлично рисунок, а вот сочинение на свободную тему завалил из-за грамматических ошибок, – ирония судьбы для будущего журналиста. Страсть к рисованию продолжала во мне жить, то угасая, то вновь разгораясь. Меня пьянило все, что было связано с живописью, – краски, кисти, картины и, конечно, сами художники, которые мне казались какими-то особыми людьми, не похожими на остальных. И меня всегда притягивал их мир, их жизнь, даже много позже, когда я стал профессиональным журналистом. Но об этом потом. Я вновь возвращаюсь к обнаруженным на мусорке квартирным дверям.

Приготовив обед для детей, я поспешил за дверями. Они все так же лежали грудой поверх мусорки. Каждая из них весила примерно килограммов десять. Стало быть, вместе все сто. Расстояние до дома больше километра. Не буду в подробностях рассказывать, как я перетащил их на своем горбу в нашу и без того стесненную квартиру, где в компании с нами в то время проживало четыре кошки и один щенок по кличке Бэмби (все та же неугасимая любовь ко всем четвероногим младшей дочки).

Из-за тесноты двери я сложил на террасе, чем вызвал заметное недовольство моего семейства, для которого это место было чем-то вроде курортной

зоны,— денег нам, конечно, не хватало для отдыха всей семьей где-нибудь на море. Мои домашние испытали что-то вроде шока, когда обнаружили двери на террасе и узнали о моем решении заняться живописью. Моя супруга восприняла это неопределенно, в выражении ее лица угадывалась мысль: «Ну вот, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Лучше бы искал какую-нибудь работу».

Потом жена все-таки смягчилась, зная о моем увлечении в детстве и вообще мой интерес к живописи. «Ну дерзай, Тициан. Дерзай, ты безработный, время есть». Дети восприняли мою идею начать заниматься живописью как милое чудачество.

Не откладывая идею в долгий ящик, на следующий день я распилил все двери на нужные мне форматы. В хозяйственном магазине – ферретерии – купил самые дешевые краски – акрилику, малярные кисти и принялся поначалу не столько писать кистью, сколько махать ею по «холсту» на мольберте из стула со спинкой. Акрилика для меня была подходящей краской, в отличие от масла, она не имела запаха и быстро сохла. Кроме того, я мог ее размешивать на обычной воде в банках из-под консервов. Надо было только чаще менять воду, чтобы почище была палитра. Днем, пользуясь отсутствием своего семейства, я писал в салоне, ближе к выходу на террасу, где было больше света. А когда семейство возвращалось, я продолжал писать на террасе. Конечно, такие условия не особенно способствовали вдохновению, – в салоне мне постоянно навязывали свою компанию кошки, тогда еще котят. Две обычные уличные кошки, которых подобрала моя младшая дочь у той же мусорки, и другие две персидской породы, – этих дочке подарили наши испанские друзья, зная ее любовь к животным и меч-

ту стать не только музыкантом, но и ветеринаром. Конечно, такое приобретение заметно отражалось на нашем семейном бюджете, если учесть, что в компании с котятами подрастал Бэмби, существо симпатичное, но на редкость непоседливое и безрассудное, учитывая то, что когда у него прорезались зубы, он не нашел ничего лучшего, как изгрызть корешки всех томов испанской энциклопедии, которую нам подарили наши испанские друзья. Это было драмой для всего нашего семейства, но что оставалось делать, кроме как простить щенка Бэмби, а заодно и мою младшую дочь. Котятя — те больше причиняли бедствий мне, когда я отлучался на кухню готовить обед или же заняться другими домашними делами, они не находили ничего лучшего, как забавляться моими кисточками. Видимо, они хотели разобраться, что это за предметы, которые в моей руке как бы оживали, когда я водил ими по холсту, пробуждая в них хищные инстинкты. Когда я возвращался к холсту, то обнаруживал разбросанные по всему полу кисти, изрядно изгрызенные и уже малопригодные для работы. Иногда, пользуясь моим отсутствием, они лакали разведенную акрилку из консервных банок. Тревожась, что кто-то из них может отравиться в компании с тем же Бэмби, я всякий раз перед тем, как начать заниматься домашними делами, старался не забыть накрыть банки. Тогда, возвращаясь к холсту по завершении домашних дел, я нередко заставал разлитую по полу салона краску. Приходилось протирать пол и только тогда приступать к «холсту». Конечно, все это можно назвать обычными житейскими мелочами, и тем не менее, чем серьезнее я увлекался своим новым занятием, тем больше меня раздражали манипуляции наших четвероногих пи-



томцев. При этом надо учесть, что в мои обязанности входило еще и ухаживать за ними, покупать для них корм, песок для отправления нужд, который надо было каждый раз обновлять и выносить на мусорку. Иногда заниматься их лечением. Словом, забот с ними у меня хватало, особенно когда они повзрослели и выражали свою неумную энергию, сбрасывая со стола посуду, нередко со съестным, или с полок всевозможные безделушки, даже цветы с вазой. Они шныряли по всему салону с истошным мяуканием, на которое залихватистым лаем отзывался Бэмби. Конечно, все это не способствовало вдохновению и предельной концентрации у холста. Мое раздражение передавалось моей руке, и от этого линию или мазок я нередко делал дрожащей рукой, как страдающий первыми признаками болезни Паркинсона. Но живопись имеет какое-то магическое, необъяснимое свойство избавлять человека от разных бед, включая и житейские. Она поглощает тебя, уводя в иной мир, и едва ли какой наркотик может сравниться с этим забытием. И чем больше я занимался ею (иногда это бывало по десять и больше часов в день), тем больше и глубже я начинал понимать, в чем разница восприятия мира художником и обычным обывателем. И больше понимал драму серьезных художников и то несравненное счастье, которое выпадало на их долю в процессе творчества. Для меня это запоздалое открытие не в один десяток лет дремавшего где-то в глубине души призвания к живописи в самом деле было чем-то вроде бальзама для души, распахнутое окно в совершенно иной мир, воображаемый мной и реализуемый на холсте (с натуры я писал в редких случаях). Мне оставалось только удивляться, как возникают неожиданные сюжеты и композиции, как возникает цвет, рождая гармонию.

Для меня это было несравненным чудом, и мысленно я называл для себя не рисунок (этому можно, в конце концов, научиться), а цвет божеством живописи и потому начинал соглашаться с тем, что раньше неохотно воспринимал – абстракцией, а с ней и другими направлениями и течениями в живописи, разумеется, за исключением тех, где, на мой взгляд, угадывалось шарлатанство.

Живопись избавляла меня от ностальгии по тому, что я считал дорогим для себя в своем отечестве, частых приступов депрессии, от того, что не удавалось осуществить здесь, в новой для себя и моей семьи обители, где для меня самым большим испытанием была вынужденная безработица. И я начинал все больше соглашаться с мыслью Джорджа Оруэлла о том, что безработица хуже войны. И от себя добавлял: «Особенно когда у тебя не остается шансов найти работу по призванию. Ведь поговорка «не до жиру, быть бы живу» – не для всех критерий. Я бился у холста (или с холстом) иной раз по десять и больше часов и, обессиленный, падал на диван и мигом засыпал. Ведь одно дело быть профессиональным художником, вобравшим школу мастерства в академии, зная, что к чему, имея выучку не в один год, другое, когда, не получив ни одного урока живописи, осваиваешь ее на ощупь, интуитивно, чутьем, с нуля. Это был тот случай, когда невольно вспоминалась фраза: «Ты хочешь удивить мир? Но не боишься ли ты его рассмешить...»

\* \* \*

Что же все-таки, кроме всего прочего, послужило импульсом к тому, чтобы я начал заниматься живописью? В памяти перебираю другие периоды своей жизни.

Службу на флоте, где я был в числе нерадивых матросов, чаще отбывая наряды на камбузе за чисткой картошки и драянием до зеркального блеска закопченных котлов. Бывало, отсиживал и на гауптвахте, однажды даже в одиночной камере пятнадцать суток за драку, – я–таки одного деспота– «деда» не выдержал и посадил на задницу, на юте нашего спасательного буксира – он до жестокости терроризировал нас, салаг. В то время я уже занимался боксом, освоив первые его навыки. Чтобы как–то коротать время в одиночной камере, я раздобыл огрызок карандаша и на стенах делал им всевозможные карикатуры. На пятнадцатые сутки все стены камеры были разрисованы. Камера стала своеобразной галереей развлекательных рисунков для тех, кто отсиживал в ней после меня.

После службы, закончив заочное отделение факультета журналистики МГУ, я долгое время был без работы. Однажды все же повезло, и меня взяли в штат многотиражной заводской газеты, где я удержался чуть больше года, обнаружив в себе не самую лучшую черту характера – неуживчивость. Позже меня не раз увольняли по указанной причине из разных газет, одна из которых была союзного значения. И я окончательно и надолго утвердился в почетном звании журналиста на вольных, но весьма горьких хлебах, познав в честолюбивом возрасте, что значит быть порой не только голодным, но даже не имеющим возможности купить за пятак билет на проезд в метро.

Где только не приходилось печататься, чтоб как–то выживать. От журнала «Мурзилка» до «Литературной газеты». На Командорских островах мне удалось проработать больше года в районной газете «Алеутская звезда». Редким солнечным утром, ког-



да затихала пурга, я выходил на берег океана к лежбищам котиков и подолгу любовался этими красивыми и мирными животными, временами вздрагивая от молучего рева вожаков стада, – казалось, от этого рева колеблется под ногами земля и дрожит высоко в небе солнце. Изредка на острова заходили суда, поставляющие провизию и все необходимое для жизни населения из двух тысяч человек, преимущественно аборигенов – алеутов. Как правило, они занимались забоем котиков, ловом рыбы и разведением ценной породы голубых песцов. Я полюбил этот народ, словно всеми забытый, в стороне от всего мира. Мне нравились в них многие черты – бескорыстная доброта, какая-то детская искренность, доверчивость, трудолюбие и какое-то удивительно тонкое, поэтичное восприятие окружающего мира. Они изготавливали неповторимые наряды, если не сказать творили, из разных мехов, украшая их своеобразным орнаментом. Это было поистине чудом. В моей памяти осталась незабываемой алеутка по имени Маша. Я часто видел ее одиноко бредущей вдоль берега океана и однажды, приблизившись к ней, услышал, как она напевает какую-то незнакомую, но удивительно красивую мелодию. И я не удержался, спросил ее, что это за мелодия. Она просияла круглым смуглым лицом с раскосыми, необыкновенно зелеными, цвета моря, глазами.

– Мелодия? – переспросила она. – Не знаю. Это я выдумываю, чтоб веселей было. Я люблю выдумывать разные мелодии.

– Как же ты их выдумываешь? – спросил я. – Они такие красивые.

– А я у океана их подслушиваю, от птиц, зверей и котиков слышу, – простосердечно отвечала она. – Или когда на небо смотрю. На плывущие облака

или на солнце, когда оно начинает только-только заходить. Это так красиво. Мне тогда очень хочется петь. И я пою сама не знаю что.

Я тогда невольно подумал, что эта Маша в душе больше композитор, чем иные признанные. Незадолго до Нового года написал о ней рассказ «Песня солнца», который охотно опубликовали в газете. Это был мой подарок алеутке Маше на Новый год.

Мне приходилось писать о разных людях – выдающихся спортсменах, ученых, писателях, режиссерах, актерах, художниках, но также и об обыкновенных тружениках – пахарях, рабочих у станка, рыбаках, шахтерах. И я был благодарен своей профессии журналиста, – она позволяла мне путешествовать, бывать в разных концах страны, знакомиться с разными людьми, узнавать жизнь, обычаи и традиции разных народов. Это важное преимущество профессии журналиста над многими другими, и я был счастлив и горд именно оттого, что я был журналистом на вольных хлебах, что позволяло мне чаще тех, кто работал в штате, ездить в командировки. Это как-то компенсировало и мою постоянную материальную нужду. Но однажды я вмиг и неожиданно, если учитывать те нормы, по которым тогда жило большинство, разбогател. И не только я...

Помню, был летний день. Я зашел к одному из своих друзей-художников из числа подвальных, что не всегда означало жить и творить в прямом смысле в подвале. Понятие «подвальный художник» больше означало быть свободным в своем творчестве, независимым от заданных идеологических тем. Он жил и творил в одноэтажном доме, подлежащем сносу. Он был хороший художник, очень приятный и общительный человек, не утративший чувства

юмора и неудержимый интерес к женскому полу не только для изображения на холсте. На этот раз я, как всегда, застал его в компании с одной из местных красоток, которая ему охотно позировала, в перерывах попивая с ним дешевое вино, в розлив купленное на местном рынке. Он был рад встрече со мной и предложил тут же разделить компанию, узнать от меня столичные новости и поговорить о разном. Узнав, что я, как всегда, в материальной нужде, он неожиданно предложил:

— Слушай, ты же мотаешься по всей стране, — сказал он, отпив глоток вина из стакана. — Мог бы по ходу делать заказы для наших художников. С каждого бы мы отстегивали тебе, без всяких вычетов за бездетность десять процентов. Мне кажется, неплохая идея. Если дело пойдет, то все мы сказочно разбогатеем, и у тебя, наконец, после долгой холостяцкой жизни появится шанс жениться на какой-нибудь красотке и обзавестись детьми. Радость на старости. Как тебе идея?

Я принял его идею за очередное чудачество. Но он продолжал настаивать на ней, посвящая меня в тонкости моей будущей смежной профессии — агента по добыче заказов для художников.

— Это не так сложно, как ты думаешь, — продолжал он. — Язык у тебя подвешен, охмурять ты умеешь, внешность сановитая, несмотря на твою хроническую нищету, располагающая. К тому же столичный журналист, кто откажет такому заключить договор на оформление средствами живописи, скажем, дом культуры, красный уголок, кабинеты руководства какой-нибудь фабрики, завода, комбината или того же колхоза или совхоза. Предприятий, нуждающихся в художественном оформлении, по стране не счесть...



Как позже выяснилось из разговора, местный художественный фонд не мог обеспечить художников достаточно заказами. На официальные его запросы предприятия чаще всего отказывались, ссылаясь на то, что у них не хватает денег для других более важных нужд, скажем, строительство жилья для своих тружеников, или же детских садов и прочего. У частных агентов было куда больше возможностей выходить напрямую на руководство и находить с ним контакты, тем самым успешнее продвигая дело. Это было полузаконное мероприятие, официально запрещенное, но на практике широко поощряемое. Все понимали, что художникам надо как-то выживать, а художественный фонд не справляется с этой задачей.

— Старина, — заключил разговор на судьбоносную тему мой друг. — Ты не волнуйся, это дело вполне законное. Мы тебя снабдим всеми необходимыми документами через тот же художественный фонд, законно оформим твою деятельность. Получишь удостоверение инспектора-искусствоведа художественного фонда, необходимые бланки для оформления договоров и вперед, чешские львы. Нас из нищеты вытащишь и сам будешь жить, как король на именинах.

Кто откажется от такой идеи, особенно когда в карманах вечно гуляет ветер, когда ты больше по причине безденежья все еще в холостяках. Мы с ним распили в тот день еще не одну бутылку вина в компании с его красоткой, и через пару дней я уже был готов к своему первому вояжу. Объектом для своего вояжа я выбрал Туркмению, единственную республику в Средней Азии, где я еще не успел побывать в командировке как журналист. Я выбрал себе путь более долгий, чем авиацией, но куда более при-

влекательный, – поездом до Баку, а от него паромом через Каспийское море в Красноводск. Затем автостопом по пролегающей через всю пустыню Кара-Кумы автотрассе до Ашхабада. Туркмения меня больше привлекала именно пустыней. Я хотел наконец увидеть совершенно иной мир, где земля дышит не только солнечным зноем, как и небо, но и древностью, где сохранились следы древнейшего Парфянского царства. Не буду в подробностях рассказывать о том, как я добирался на пароме через Каспий до Красноводска. В памяти осталась встреча с туркменом, который оказался со мной в одной каюте. Он мне запомнился тем, что с большой и искренней любовью совмещал в себе веру в светлое будущее коммунизма, состоя в рядах КПСС и занимая должность директора одного из передовых хлопководческих совхозов, с не менее искренней верой в аллаха, что для меня было не ново, но в любом случае любопытно.

– Аллах простит меня за то, что пью, – не забывал он повторять каждый раз, когда опрокидывал в компании со мной рюмку коньяка, который мы с ним распивали весь путь. – Пусть это будет самый большой мой грех.

– А партия? – спросил я шутки ради. – По уставу же запрещено пить больше положенного, а мы уже вторую бутылку распиваем.

– Партия мне уже давно все простила, – сказал он, явно не лишенный юмора. – Если б я тебе рассказал, сколько грехов мне простила партия, ты бы с ума сошел. А почему простила, знаешь? Потому что я умею дружить с партией. Вот приедешь ко мне в гости, все поймешь. И я с тобой договор для твоих нищих художников заключу на любую сумму. Партия мне простит. Потом с тобой заключит

договор один из моих друзей, тоже директор хлопководческого совхоза, правда, не такого передового, как мой. Он тебя своему другу представит, тоже директору совхоза, тот – своему. И все заключат с тобой договора, дружба чудеса делает. Все же жить хотят, понимаешь, плов кушать, шашлыки из молодого барашка. Аллах этого не запрещает – хорошо жить. Чтоб дети учились, сыты были и одеты. Чтоб кроме одной лошади или верблюда в доме одна машина была, «Волга» или хотя бы «Жигули», это же нормально.

– Вполне, – сказал я.

– А у тебя есть машина?

– Нет.

– Даже «Жигулей» нет?

– Даже «Запорожца».

– Какой несчастный журналист. Ты, наверное, самый честный коммунист.

– Я беспартийный.

– Это совсем плохо. Без партии у тебя нет будущего, дорогой.

– Я живу настоящим. А что думать о будущем, когда не осталось никакого прошлого.

– Умный человек, – сказал он, со всей серьезностью разглядывая меня как редкий экземпляр. – Настоящий журналист. Ты обязательно ко мне приезжай. Я хочу с тобой этот разговор о прошлом продолжить. Мой дом – твой дом.

Я расстался с ним в Красноводске, где у него были какие-то дела.

\* \* \*

Время клонилось к вечеру. Жара еще не спала. Я стоял в стороне от трассы, любясь пустыней. Необъяснимое безмолвие и тишина были вокруг. Я

чувствовал себя одиноким, потерянным пилигримом. Мне казалось, что вот сейчас появится мой ангел-хранитель, и в какой-то миг мне это даже почудилось, когда я увидел в небе сияющий на солнце предмет. Вскоре он приблизился, и я разглядел в нем неспешно парящего надо мной орла. Он делал круги, все больше сужая их и вдруг неожиданно, словно подстреленный невидимым стрелком, камнем упал наземь. Я знал, что в этой пустыне водятся всевозможные грызуны – чаще суслики, барсуки и, конечно, ящерицы и скорпионы, которые обычно выползают из нор к вечеру, когда солнце на закате. Вскоре я вновь разглядел в небе того же орла, он уже летел по прямой, растворяясь в солнечном небе, и я успел увидеть в клюве его добычу, какого-то грызуна. Меня как никогда остро одолевали мысли, которые чаще могут прийти именно в пустыне. Я думал о том, как ничтожен миг человеческой жизни, и время в образе пустыни как бы предстало передо мной воочию. Пустыня почему-то казалась мне моей прародиной, где захоронены мои далекие предки и чей дух и сейчас витает, возможно, совсем рядом со мной, и я не удивился бы, расслышав их шепот: «Ну как тебе живется, наш потомок, счастлив ли ты на этой грешной земле?» И вместе с тем мне почему-то казалось, что передо мной каким-то чудом сейчас может предстать именно та женщина, которую я был бы счастлив любить и прожить с ней всю свою оставшуюся жизнь именно здесь, в этой безмолвной пустыне, любоваться с ней закатами, очаровываться таинствами ночи и вообще жить в стороне от больших городов, от всей суеты их, обманчивых соблазнов и очищаться душой. Но это было из области мистического, откуда меня вывел сигнал тормознувшей у края трассы машины.

Это был туркмен, которого сложно было представить за рулем машины, настолько он казался древним и традиционным в своем национальном костюме из шелкового, расшитого орнаментом халата и в большой черной папахе, из-за которой его длинная борода на солнце казалась белоснежной.

— Салам алейкум, — поприветствовал он меня первым, щурясь в улыбке на удивление европейским лицом. Его не сложно было представить, скажем, во фраке и с бабочкой на шее на каком-нибудь международном симпозиуме. — Кого ждешь, сынок?

— Ангела, — пошутил я, отвечая ему улыбкой.

— Это кто? — спросил он, явно плохо зная русский.

— Наверное, вы, — сказал я. — Мне ведь надо добраться до Ашхабада.

— Садись, — сказал он, услужливо раскрыв дверцу. — Я тоже еду в Ашхабад. Хочу детей и внуков навестить.

Он вел машину по-крестьянски обстоятельно и неспешно, всю дорогу больше думая о чем-то своем. Очень оживился, когда я объяснил ему значение слова ангел.

— Ангел? — повторил он вслед за мной. — Да, да, конечно, есть ангел.

И потом снова замолк. И в его молчании, казалось, было скрыто все таинство востока.

В Ашхабаде он, сложив ладони рук на груди, традиционно попрощался со мной, сказав:

— Пусть аллах тебя бережет, сынок.

Мои первые попытки заключить договор на заказы для моих художников на разных предприятиях кончились неудачно. Ехать в ближайшие совхозы для заключения договоров я не решался, зная,



что они уже давно освоены местным художественным фондом. В Туркмении, как и везде, были свои подвальные художники, которым тоже нужны были заказы. И тогда я позвонил своему первому попутчику Айдурды Абасовичу. Он искренне обрадовался моему звонку и даже предложил послать за мной машину, хотя его совхоз находился от Ашхабада на расстоянии в триста километров. Я поблагодарил его, решив ехать до районного центра, где он жил, рейсовым автобусом, на что у меня ушло около пяти часов.

Айдурды Абасович, встретив меня с родственным радушием, сразу же повел к себе в дом, где нас поджидал дастархан – широко накрытый стол со всевозможными сладостями, поданными к традиционному зеленому чаю, который нам подносили в пиалах.

Перед тем, как войти в дом, по традиции вслед за хозяином, я снял свою запыленную обувь и только тогда переступил порог. Мы расположились на ковре, у дастархана, и Айдуры Абасович, обратив взор вверх и сложив на груди руки, произнес молитву. Вслед за этим мы приступили к чаепитию – традиционному ритуалу перед началом угощения другими блюдами. Они подавались двумя женщинами, бесшумно, словно ветерок, подносящими к столу все новые и новые блюда, изредка одаривая хозяина дома и гостя скромной приветливой улыбкой, в которой я не улавливал ни тени кокетства. «Таинственный восток», – подумал я очередной раз и хотел уже спросить у хозяина о женщинах, но он опередил меня:

– Это мои жены, – сообщил он не без гордости, – Фируза и Зульфия. У меня от них четыре сына и три дочери.

– Две жены? – удивился я, хоть и знал о многоженстве у мусульман. – Но вы же член партии, где по уставу положено иметь только одну.

– Это так, – сказал мой хозяин, беря пальцами из блюда жирный плов с бараниной, приправленный гранатовым соком. – Но лучше иметь две законные по религии жены, чем два десятка на стороне незаконных. Поэтому у меня есть предложение выпить за законных жен.

Он разлил в рюмки знакомый мне уже коньяк.

– Ошибаются те, кто думает, что содержать двух жен или больше по нашему обычаю очень дорого обходится. Еще говорят, что это дико. Я думаю, дороже иметь на стороне десяток любовниц, эта традиция хуже. Разве можно предавать свою жену, с которой у тебя святое – дети. Аллах такое не прощает. Я думаю, это и есть дикость.

Я открывал для себя новый мир и был совершенно не подготовлен к тому, чтобы в чем-то возразить моему хозяину, – таинства востока для меня были непостижимы, и я промолчал.

– Ты сказал мне на пароме, что не надо думать о будущем, когда не осталось прошлого, – вспомнил Аймурды Абасович. – Я это запомнил. Да, у всех у нас нет прошлого, потому что мы его разрушили, наши храмы, нашу веру, забыли традиции и обычаи наших предков, а ведь они создавались многими поколениями. Ты что думаешь, все наши предки были дураки, а мы только умные? И Бог нас наказывает, дает нам великие испытания. Хотя в коммунизм я все равно верю. Но зачем портить настроение – стол для веселья, радости. Сейчас подадут манты. Ты пробовал такое восточное блюдо?

– Не приходилось.

– Это когда ешь и не можешь остановиться. Ты,

я думаю, еще много чего не пробовал из нашей кухни.

Блюда менялись одно за другим. За разговорами мы просидели до полуночи.

Потом мы вышли в сад, где росли гранатовые деревья и персики. Была тихая звездная ночь. Пахло незнакомыми пряностями. На широком деревянном топчане под деревом для меня была уже приготовлена постель.

– Смотри на небо, – сказал он мне перед сном на прощание. – И сон твой будет чистым и светлым. О завтрашнем не думай. Все уже решено.

Я лег на необыкновенно широкую постель и, глядя на звездное небо, курил. «Как в сказке, – думалось мне. – Тысяча и одна ночь. Не хватает только жены, ну хотя бы одной...».

Мне было о чем подумать. И сон мой на удивление оказался чистым и светлым.

Наутро, встретив меня с прежним радушием, пригласив на завтрак за тот же дастархан, Айдулды Абасович сказал:

– У меня только одна просьба. Мог бы кто-то из ваших художников написать портреты моих жен? Я дам тебе их фотографии.

– Думаю, это не будет проблемой.

Прощались мы как давние друзья. За три дня я заключил договор с тремя хлопководческими совхозами на общую сумму в сто тысяч рублей, трижды встретив в доме каждого из директоров совхозов не менее щедрое гостеприимство, чем у моего благодетеля Айдулды Абасовича.

Художники меня встретили как триумфатора. Наконец у них появился шанс вылезть из своих затемненных сырых подвалов и, не особо задумываясь о хлебе насущном, продолжать творить. Шли

годы, и я продолжал совмещать профессию журналиста с деятельностью агента по добыче заказов. Это стало как бы еще одним моим призванием. Едва ли кто мог со мной посоперничать в этом деле. При желании, я и в самом деле мог бы разбогатеть, но я не желал этого. Это было для меня скучным занятием. Бесцельным. Я делился деньгами с моими коллегами, горемычными художниками, литераторами, родственниками, которые испытывали материальные затруднения.

Но я перехожу из невольной патетики к обычному повествованию о житейском, обыденном.

\* \* \*

У каждого человека свое отношение к животным. Что касается меня, то из всех домашних животных я больше люблю собак. Причем лохматых и крупной породы, ну, скажем, колли, в облике которых я угадываю некий аристократизм. В лохматости собак я вижу еще и некий символ добродушия, домашнего уюта, тепла, скажем, в отличие от короткошерстных догов, или ротвейлеров, из которых анатомически отовсюду выпирают мышцы, как у какого-нибудь культуриста. Они мне кажутся куда более хищными, чем лохматые собаки. В кошках я тоже нахожу при всем их уютном мурлыканьи и привязанности к дому и ко всем больше хищного, мистического и непредсказуемого. Особенно в сямских. Один мой приятель в студенческие годы потом выбился в Москве в заметный ряд писателей. В одном из своих романов он повествует о своей любви к единственной женщине на протяжении многих лет, но, видимо, заранее угадывая печальный ее исход, он от отчаяния переспал не с одним десятком женщин в разных, порой немыслимых об-

стоятельствах. В качестве одного из персонажей он вывел и меня, причем Казанова в сравнении со мной выглядит каким-то жалким любителем.

Видимо, склонный к гротеску, он вспоминает в романе и о кошке одной из своих любовниц. Расписав до деталей интерьер скромного жилья любовницы, а также со всеми подробностями ложе любви (им был какой-то старый матрац, кинутый на пол), он с возмущением повествовал о том, как в крошечной тьме в процессе жарких объятий, приближаясь к кульминационной точке, он почувствовал, как кто-то весьма необычно забавляется его висячими прелестями. Решив, что кроме любовницы так забавляться никто не может, он участил ритм. И вдруг почувствовал, что на прелестях его что-то повисло какой-то необычной ношей, грозя вырвать их с корнем и навсегда сделать его несчастным. Он издал визг, от которого пробудилось все соседство. Выяснилось, что так забавлялась кошка любовницы.

Я позвонил ему. Поздравил с выходом очередного романа и, конечно, как старый приятель не без сочувствия спросил о том, как у него с главным «орудием труда», его несравненной гордостью после литературы, и как поживает его любовница вместе с той кошкой-террористкой.

– Все в порядке, старина, – услышал я счастливый голос. – Восстановился. У меня теперь новая любовница, без кошки, но, правда, с бульдогом.

– Берегись, – сказал я. – Бульдог – это тебе не кошка. Рекомендую обзавестись любовницей с беззубым домашним пуделем.

У меня с кошками были другие истории. В тот день я заработался у холста допоздна. Мои домашние уже давно спали. Как обычно в таких случаях, я укладывался спать на диване в салоне. Усталый, я



ушел в глубокий сон. И вдруг, уже далеко за полночь, меня разбудили звуки фортепиано. Поначалу мне показалось, что происходящее — продолжение сна. Но поняв, что это не сон, я внимательней прислушался к звукам фортепиано, пытаясь в темноте разглядеть, кто же играет в столь неподходящее для этого время. Невольно мелькнула мысль — может, что-то надломилось в психике у жены, и у меня сжалось сердце. Но мелодия была совсем не той, которые обычно играла по вдохновению моя жена, явно не из классики. Она скорее походила на современный модерн. Окончательно проснувшись, я сообразил, что это какофония звуков. И вслед за этим рассмотрел, как по клавишам фортепиано расхаживает одна из наших кошек персидской породы по кличке Пуси. Она была глухонемой, как это нередко случается с кошками белой масти. Очевидно, ей было приятно и забавно ощущать упругость клавиатуры фортепиано, и она враскачку расхаживала по черно-белой дорожке. Я поднялся с постели, спугнул ее и захлопнул крышку. Позже этот «концерт» повторялся еще не раз, когда мои домашние забывали на ночь закрыть крышку фортепиано.

— Мне ваших гамм хватает за день, — сказал я жене и старшей дочке, которая тоже обучалась игре на фортепиано.

Гамм в самом деле было в избытке, если учесть, что младшая моя дочь играла на гобое, а младший сын — на кларнете. Только старший сын, больше из протеста, отказался учиться музыке. Я жил не в доме, а в какой-то музыкальной шкатулке, где вместе с бесконечными гаммами не умолкало мяуканье кошек и басистый лай уже к тому времени повзрослевшего Бэмби. В общем, всякого рода раздражителей, наряду с непривычными домашни-

ми заботами, мне хватало в избытке, чтобы, ну, если не сойти с ума, то вскоре стать неизлечимым неврастеником. Но спасала все та же живопись. Квадрат холста был для меня иным миром, куда я эмигрировал из одной жизни на время в другую. И я невольно и все чаще стал спрашивать себя, — отчего же все-таки художники, вообще люди, занятые всерьез творчеством, обделяли себя супружеством, семьей. И начинал понимать, что именно потому, что заняты были им всерьез, всепоглощающе, и тому подтверждением слова одного художника: «Мои дети — мои картины». И в этом высказывании я находил высокое религиозное содержание, когда священнослужители заранее отрекаются от семейной жизни, чтоб целиком посвятить свою жизнь Всевышнему. Я все чаще ловил себя на мысли, что кистью художника, не важно, какой он меры дарования, водит Всевышний, — рука же только как инструмент, который подчиняется его воле. И в подсознании человека, в глубоких тайниках души даже самого закоренелого атеиста, вера всегда остается живой.

Эта вера жила и во мне и, может, больше потому, прежде чем заняться живописью, я часто и подолгу задерживался в мастерских моих друзей, тех самых подвальных художников, испытывая какое-то особое, необъяснимое чувство, когда разглядывал их наиболее удачные картины. Я пытался понять, как можно настолько уравновесить композицию, найти удачную форму и необыкновенно гармоничное сочетание цветов. И не приобщенный никем к живописи раньше, я все чаще и чаще стал ходить на выставки художников разных течений и направлений, посещать галереи и при случае разные музеи не только в Москве, где выделял для себя больше Пушкинский музей, или Третьяковку,

но и в Ленинграде, где так и не удалось обойти все залы Эрмитажа.

Позже я научился понимать важность взаимовлияния искусств, что есть национальное искусство и что с утратой его оскудела бы палитра мировой живописи. И все больше приходил к мысли, что истинная суть общечеловеческого как раз в признании в искусстве национального, а не в опровержении его, какими бы великими переселениями не было охвачено общество, как, скажем, в нынешний век. Именно национальное вызывает уважение и хорошее соперничество, и было бы идеально, если б эта модель распространялась в обществе на все сферы жизни. Я глубже сознавал, что Андрей Рублев русский художник, Черленис – литовский, Пиросмани – грузинский, и Шагал, при всей спорности вопроса, остается еврейским художником. Только так можно понять его парящие в небесах персонажи или сюжеты из Ветхого Завета. И я не представляю себе будущее живописи, как и вообще искусства, вне национального.

Я все больше чувствовал себя у холста добровольно прикованным к галере рабом, но счастливым рабом в окружении все тех же наших четвероногих друзей, разумеется, моего семейства с неумолкающими музыкальными гаммами, завтраками, обедами и ужинами, готовить которые, как и все остальные домашние заботы, по-прежнему входило в мои обязанности. Нередко у нас гостили наши испанские друзья, которых я всякий раз хотел удивить своей национальной кухней – ассортимент приготавливаемых мною блюд расширялся. Я, пожалуй, на равных с живописью овладевал профессией кулинара.

Однажды один из наших испанских друзей спросил меня:

– Почему на ваших картинах печальные женщины и очень темные цвета, да еще эти обрубленные деревья. Надо уметь радоваться жизни, смотрите, какой солнечный день на улице, какие горы. Сколько вокруг красоты. Я сомневаюсь в том, что ваши работы кто-то купит. Они будут вселять тоску и печаль в души людей.

Моя жена была на стороне нашего гостя, хотя я знал, что в душе она ему могла возражать. Но она в тот момент хотела только одного, – чтобы мои картины продавались, нашему многодетному семейству надо было как-то выживать.

– Если взять всю мировую живопись до наших дней, то, мне думается, в ней больше печали, чем радости, – возразил я. – Возьмите любого серьезного художника, я уж не говорю о гениях живописи. У Гойя, в его «Капричиос», разве нет печали, или даже у Веласкеса. Я не заметил, что королевская знать его так уж счастлива. Или, скажем, современная живопись у тех же импрессионистов. Там есть печальные женщины, хоть и на фоне светлой палитры. Вспомним Модильяни. У Шагала тоже не все весело, как и у Пикассо, или того же Дали. То же можно сказать о литературе, если вспомнить, скажем, Шекспира, Достоевского или Сервантеса.

– Пикассо... Что вы скажете о его кубизме? – спросил гость. – Для меня это какая-то чепуха, хотя цвет у него везде изумительный. Но форма... Это же издевательство над человеком, как можно так уродовать лик человека, сотворенного по образу и подобию Божьему. Это же кошунство, если не сказать больше.

– У меня иное представление, – сказал я. – Мне думается, началом кубизма послужило то ли сознательное, то ли интуитивное ощущение художником распада в человеке личности. Многие хотели стать

аристократами в извращенном представлении об этом, в неумной жажде к материальному благополучию. Куб и квадрат – символы техницизма, и изображение их как ничто другое подтверждает, что душа человека как бы расчленена. Поэтому я не отрицаю кубизм, как и абстракционизм или еще какой-либо модерн, правда в том, что они отражают дьявольщину.

– Но ведь дьявол вот уже сколько веков с нами, со дня рождения человека на этой грешной земле. Еще в раю он стал искушать запретным плодом.

– Запретный плод был дан как первое испытание, предостережение о том, что есть дьявол. И мы послушались. И вот пожинаем плоды. Сегодня Создатель вновь предостерегает нас от запретного плода. Вкусим, и тогда уже некому будет строить Ноев Ковчег...

– Понимаю. Но как остановить мысль, ведь технический прогресс невозможно обратить вспять.

– Мыслью руководит разум человека. А что есть хорошее и плохое – при желании понять не так уж сложно.

Не думаю, что на нашего испанского друга действовали мои весьма спорные представления о живописи, но он купил в тот день одну из моих работ. Мое семейство было счастливо.

– Папа, – сказала мне старшая дочь. – Может, ты в самом деле настоящий художник?

– Я тоже так думаю, – поддержала младшая дочь.

– Купим наконец сегодня мой любимый торт и отпразднуем твой успех.

– С условием, – сказал я, – если приложите к нему бутылочку винца.

– Ну, ты как всегда, товарищ Тициан, – ласково упрекнула жена.



– Я сыграю сегодня для папы отрывок из «Арахнуэса» Хоакина Родриго, – сказала старшая дочь.

– Короче, сегодня мы тебе устроим семейный концерт для фортепиано с оркестром, – сказала жена. – Ты заслужил это, неудавшийся шансонье в баре, ночной сторож в дискотеке и пеон на стройках капитализма.

Я был доволен. Меня стало неожиданно признавать художником мое семейство, а это уже кое-что значило.

Шло время. Мое новое призвание обязывало меня не только все больше трудиться, но чаще посещать всевозможные выставки и музеи, среди последних я чаще заходил в музей «Прадо» и «Рейны Софии». Когда в кармане оставались хоть какие-то деньги, я покупал в «букинисте» дешевые каталоги художников, в основном эпохи Возрождения. Из представителей современной живописи я находил творческое родство больше с Соланой с его карнавальными циклами и присутствием чего-то мистического, у Шагала, там, где доминировал мерцающий синий цвет, у Модильяни с его вытянутой певучей линией и благородством палитры. Открывал многое для себя у немецких экспрессионистов, где отдавал предпочтение больше Максу Бэкману и Отто Миллеру. Ну, конечно же, из предшествовавших им всем моими кумирами становились Ван Гог, Сезан, Гоген, Сера. Подолгу разглядывая каталоги этих художников, я пытался познать таинство их искусства больше интуицией, чем разумом.

Я был благодарен судьбе за то, что на свете есть музей «Рейны Софии», где я открывал многое для себя, подолгу задерживаясь у полотен разных художников. Для меня этот музей становился чем-то вроде храма, где я каждый раз заново возрож-

дался, когда меня одолевали отчаяние и сомнения, и где я находил вдохновение, чтоб снова вернуться к холсту. Подольше задерживаясь у иных холстов, я невольно вел как бы диалог с тем или иным художником. Это было на выставке работ Модильяни. В то время я уже был знаком с его работами и знал кое-что о его жизни. О многом говорила и сама внешность художника — вытянутая фигура, тонкие черты лица, удивительно глубокие большие глаза с мягкой улыбкой, в которых затаилась печаль. Он смотрит немного вызывающе, откинув назад прядь густых волос над высоким лбом. На шее повязана косынка, как у баска. Я художник, — всем своим обликом говорил он, — и больше никем другим не могу и не желаю быть. Трудно сказать, что его так рано сгубило, — женщины, алкоголь, туберкулез или неудовлетворенность жизнью, когда его искусство еще не находило достойного признания. Я шел на выставку с необъяснимыми для себя чувствами, — очевидно, срабатывало то, что в то время для меня его живопись была ближе или родственней. Мне казалось, что во мне продолжается его душа. И вот я у одного из холстов. Не могу долгое время от него оторваться и все спрашиваю себя, обращаясь одновременно и к художнику: «Почему мне нравится эта женщина? Ведь ни одна из женщин, изображенных на холсте разными художниками, не вызывала во мне такого одухотворения, никто так не трогал душу. Даже женщины Боттичелли. Так в чем же тайна? Я видел женщин, очень реалистично изображенных на холсте у великих художников, и они меня часто оставляли равнодушным. В чем же все-таки дело, почему именно женщины Модильяни?»

Я продолжал стоять у холста, пытаясь разобраться в чем-то от меня ускользающем.

«Амадео Модильяни, ведь твои женщины больше маски – вытянутое лицо, шея, глаза-щелочки, все вытянутое до subtilности. Открой тайну, Амадео, – обращался я к художнику. – Твои женщины одиноки, потерянные, слабы. Может, именно этим они так притягивают к себе? Может, мужчине нужна именно слабая женщина, чтоб чувствовать себя сильным, нужным ей? Может, это и есть тайна гармонии, которую мы ищем? И, может, тебе, как никому, удалось ее найти в певучей линии».

Музей «Рейны Софии» был храмом для меня, где я искал свою истину, и не только в живописи. Я хотел для себя через живопись разных художников понять истоки ее – почему человеку захотелось изображать самого себя и весь окружающий мир и прийти к гениальности в этом? И я хотел понять связь веры с Божественным, тем, что в моей душе было смято и растоптано вульгарным, навязанным представлением о нем со дня моего рождения. Я по-детски учился как бы заново многим восхищаться, и зайдя в какой-то из Божьих храмов, я подолгу задерживался в нем после службы, тайком прикасаясь к сводам колонн, высоко возносящимся к основанию купола, расписанного сюжетами на библейские темы неизвестным для меня мастером. И спрашивал себя, что могло вдохновить человека создать такой храм, – неужели только денежное вознаграждение за его труд, или же принуждение, чье-то повеление, скажем, того же монарха? И приходил к убеждению, что никакая плата, никакое принуждение не могли заставить создать этот храм, потому что я знал, по крайней мере, по своему опыту жизни и из того, что было прочитано мной, что человека можно убить, но сделать его пожизненно рабом невозможно, даже если это самый падший

человек. В душе его всегда будет жить протест, и всегда этот протест будет давать знать о себе. И тогда я начинал понимать, что вера в Божественное, и прежде всего именно это давало силы и вдохновение человеку созидать и творить. Именно благодаря этой вере он сотворил и создал все то ценное, что есть на земле. И едва ли кто меня сумел бы переубедить.

Как-то я затронул эту тему с одним из моих знакомых, архитектором. Тема для разговора возникла не случайно, после посещения воскресной службы в известном в мире монастыре Сан Лоренцо в Эскуриале, куда он меня пригласил.

Я был под впечатлением от всего увиденного, чувствовал себя сотворенным из музыки, — орган играл один из канонов Баха, и уже позже я пытался глубже осмыслить для себя проповедь падре, фразу из Евангелия от Марка о силе веры: «...если кто скажет горё сей: «поднимись и ввергнись в море», и не усумнится в сердце своем, но поверит... — будет ему, что ни скажет».

«Вот и ответ на твои вопросы, — думалось мне, — больше вера, а не страх или денежная плата помогли соорудить такой храм. Не на уровне живота это. И все, что ты видел еще до службы внутри храма — тоже вера, и росписи мастера на необыкновенной высоте купола его и по стенам, и картины великих мастеров эпохи Возрождения, и усыпальница королей из династии Бурбонов. Нет, ни рабский страх, ни денежная плата не могут дать такого вдохновения».

— Не по принуждению ли был сооружен этот храм? — спросил я все же приятеля-испанца, — из страха, боязни, как вы считаете?

— Страх и трусость — разные вещи, — сказал он. — Страх — естественное чувство, больше очищающее душу, он свойственен всему живому. Даже муравью

как инстинкт самосохранения, что вполне нормально. А трусость всегда предполагает предательство, то, что связано с эгоизмом в человеке, именно в том, в ком нет веры. Это низменное чувство.

– А страх перед Божьим наказанием, разве это не есть трусость?

– Но ведь это не страх человека перед человеком или хищным зверем. Это страх перед создателем всего сущего, и потому он очищающий. Это священный страх, именно тот страх, который зарождает в душе человека красоту и дает ему вдохновение, чувство возвышенного.

– Я жил в стране атеизма, и мы говорили: ну почему же Бог не выйдет к нам и не пожмет нам руки?

– Потому что они все еще грязны. Вот когда мы все очистимся и прозреем, он это сделает. Чтобы приблизиться к нему, надо пройти испытания и заслужить пожатия его руки. Сотворив нас по образу и подобию своему, он дал нам безграничную свободу выбора. А это и есть испытание.

– Вот демократия...

– Тоже испытание. Свобода – это когда ты знаешь, что можно и что нельзя. Вседозволенность – это не свобода, это чаще преступление.

\* \* \*

Прошло больше года с того дня, как я начал заниматься живописью.

За это время повзрослели не только наши дети, но и все наше четвероногое семейство. Не знаю, то ли я по привычке за это время ко всяким их кошачьим и собачьим неожиданностям и выкрутасам, то ли они к моим манипуляциям, с их точки зрения, у холста, но они мне уже не мешали так, как раньше, я мог в какой-то мере сконцентрироваться перед на-



чалом работы, не всегда при этом зная заранее, что буду изображать на холсте. Тема часто блуждала в моем сознании и воображении, в редких случаях обретая конкретные черты. Я писал все по воображению, по наитию. В редких случаях я пробовал писать с натуры, какие-либо натюрморты, какой-то пейзаж, чаще горы, в окружении которых находился наш городок Биальба, иногда фрагмент из уличной сценки, старушку на террасе в нашем доме, которая подолгу сидела там за вязанием, ловко перебирая спицами. В редких случаях я писал тех, кто находил время мне позировать. Однажды мне понравилось лицо одной женщины. В черном одеянии, она чем-то напомнила мне монашенку из итальянского фильма, где играла моя любимая актриса Клаудия Кардинале. Был жаркий летний день. Незнакомая женщина сидела в баре за чашечкой кофе. Ее одежда и отрешенность от всего никак не увязывались с солнечным днем и праздничным настроением присутствующих в баре, – все они что-то пили, ели и оживленно, с частыми восклицаниями, свойственными испанцам, дружелюбно о чем-то говорили. Я незаметно для всех любовался женщиной, мысленно изображая ее на холсте, вполне отчетливо представляя себе форму, цвет, линию, в целом композицию. И пытаясь одновременно понять причину ее отрешенности, состояние души. Я решил, что с моей стороны будет не совсем прилично подойти к ней и сказать о своем намерении, и я вынужден был обратиться к той лжи, которую вполне можно назвать святой. Держа в руке сигарету, я приблизился к ней и спросил у нее зажигалку.

– Можно прикурить? – спросил я, почему-то убежденный в том, что она курит, что совсем не свойственно монашенкам, коей я ее представил.

– Конечно, – сказала она, охотно извлекая из своей сумочки зажигалку. Я прикурил и, обнаружив неожиданное расположение ее ко мне, несколько осмелел.

– Вы не монашенка? – спросил я.

– Я? – она вскинула на меня удивленный взгляд.

– А почему вы так решили?

Я сказал ей, и она рассмеялась.

– Да, мне уже говорили, что я похожа на Клаудию Кардинале. Но я совсем не монашенка, – сказала она, и лицо ее вмиг опечалилось. – У меня умер супруг.

– Простите, – сказал я.

– Вам нравится эта актриса?

– Да, – сказал я, уже не решаясь обращаться к ней со своей просьбой.

– Вы хотели у меня спросить что-то другое, – сказала она. – Вы ведь могли прикурить у бармена или сидящих рядом с вами.

«Ложь всегда найдет наказание, – подумал я, смущаясь, – даже святая»

– Я художник, и хотел бы написать ваш портрет, – вынужден был я признаться.

– Почему вы мне не сказали об этом сразу? – спросила она, закуривая сигарету. – Вы не похожи на робкого человека.

– Внешность бывает обманчива, – сказал я. – Я как раз часто бываю очень робким.

– К сожалению, я не могу вам позировать, – сказала она. – Может быть, когда пройдет траур. Позвоните мне через две недели. Я дам вам свой телефон.

По прошествии двух недель я позвонил. Какой-то старушечий голос мне сказал, что сеньора Мариса уехала вместе с сыном жить на Майорку, не оставив своего нового адреса. Я был искренне огорчен.

Но все же я написал ее портрет по памяти, и, на удивление, он оказался удачнее всех остальных.

\* \* \*

В перерывах между работой я выгуливал Бэмби. Он к тому времени из безрассудного, вездесущего щенка вырос в приличного пса, обнаружив в себе помесь обыкновенной дворняжки с немецкой овчаркой. Уши его всегда были торчком. Он стал на редкость умной и сообразительной тварью в отличие от наших кошек, которые не во всем еще уняли своей прыти. Как-то, выгуливая очередной раз Бэмби, я обратил внимание на его необычное рычание, – он раньше меня завидел вдали человека, который шел нам навстречу с собакой колли на поводке. Бэмби резко потянул поводок, когда хозяин колли был уже метрах в десяти от нас, и рывкнул басом. Что это был за выпад с его стороны, я не понял, то ли долгожданное приветствие, то ли желание наконец попробовать себя в единоборстве с достойным соперником. К моему удивлению, колли отреагировала на Бэмби с мирным равнодушием, если учесть, что, тут же, задрав ногу, стала орошать какой-то увядший куст.

Хозяин колли, приветливо улыбнувшись, поздоровался со мной.

– Она пацифистка, – сказал хозяин, кивнув на свою собаку. – Старается обойти конфликты. Всегда ищет компромиссы.

– Редкий случай для нашего времени, – решил в свою очередь сострить я. – Мой песик тоже не агрессор. Он воспитывался в среде вполне миролюбивой, не считая мелких дразг.

Мы разговорились. Хозяин колли, как выяснилось, жил по соседству от нас. Поговорив о собаках

и их роли в истории человечества, мы сошлись в едином мнении, что все породы собак хороши, особенно если их не тревожить и дать им возможность жить в благополучной, мирной среде. Позже я был приятно удивлен, узнав, что хозяин колли художник, и даже в свое время дружил с Дали. Узнав, что я беженец, он заметно опечалился.

– Я долгое время жил в эмиграции во Франции, – сказал он. – Мои родители были республиканцы. К сожалению, мне не пришлось бывать в России. Это страна великой культуры. Мне нравится русская живопись, музыка. Чайковский, Рахманинов, Глинка... У меня есть много записей русской классики. Вы знаете, что Глинка путешествовал по Испании, собирал местный музыкальный фольклор на основе которого написал известные вещи.

К своему стыду, я не знал об этом.

– Я часто, перед тем, как начать работать у холста, слушаю Рахманинова. Мои родители были музыканты.

Я не скрыл от него, что являюсь на редкость для нашего времени многодетным папашей, да еще в компании четырех кошек и Бэмби, что в прошлом журналист и что решил для утешения души заняться живописью.

– Нигде не учились живописи? – спросил он удивленно. – Это любопытно. Могли бы мне показать свои работы?

– Не думаю, что это вам будет интересно, – сказал я, уже зная, что он профессиональный художник, посвятивший свою жизнь еще с младенчества живописи, выставлялся во многих престижных галереях в разных странах. – Ну, может, чтобы только как-то развлечь вас. Пишу по интуиции, как это бывает у детей.

– Все зависит от того, какая интуиция, – сказал он. – А учились или нет, в вашем случае, может, не столь уж важно. Между прочим, Ван Гог тоже не кончал академий, хотя я не против этого. Выучка – важная вещь, школа. Другое дело потом найти себя. Кстати, и Морис Утрилло не кончал академий и еще один ваш художник, грузин, не могу сейчас вспомнить его имя, но удивительно интересный примитивист.

– Пиросмани, – подсказал я. – Нико Пиросмани.

– Да, да, Пиросмани. Фамилия так похожа на итальянскую. А что, у грузин какая-то историческая связь с итальянцами?

– Не берусь судить, – сказал я. – По крайней мере, это юг, горы, холмы, море, много солнца, вина и песен. И там есть много прекрасных художников.

– Пиросмани... – задумчиво повторил он, и я не стал объяснять ему, что полная фамилия бедного завсегдатая духана, в общем-то, звучала как Пиросманашвили. – Челлини... Боттичелли... Модильяни... Явно итальянская фамилия.

– Весь мир в родстве, – сказал я. – Вот мои предки, к примеру, были аланы, и мало кто знает, что имя Алан, весьма распространенное в странах Европы, пошло от них. Есть местечко неподалеку от Эскуриала, именуемое Сабурдон, что означает в переводе с языка моих предков «тихая вода».

– О да, – охотно согласился он. – Четвертый век, великое переселение народов. Ведь аланы были опорной силой римлян, когда решалась судьба Римской империи и всей Европы в битве с Атиллой.

– Вы, похоже, осведомлены больше меня, – сказал я, стыдясь своего невежества. – Я это слышу впервые.

– Стало быть, вы алан?

– Сложно сказать, – ответил я. – Я чувствую себя по разным причинам все больше гражданином планеты, как и многие сейчас, хотя и потомок алан, воспитанный на разных культурах, преимущественно на русской, и вот теперь решайте, кто я, если еще учесть мое пребывание уже не один год на земле древней Иберии.

– И все же мне очень любопытно увидеть ваши работы, – сказал он.

\* \* \*

Он пришел, как и обещал, в первой половине дня ровно в назначенный час. У меня уже было написано более двадцати работ на «холстах» все из тех же дверей – преимущественно натюрморты и портреты женщин. Я заранее отобрал для маэстро, как про себя я назвал своего нового знакомого, наиболее удачные, на мой взгляд, работы, в том числе и несколько натюрмортов. Бэмби и кошек я загнал в спальню, чтоб они не мешали мне выдержать столь необычный экзамен. Жена была на работе, а дети в школе. День был на редкость солнечный, с террасы можно было видеть горы, настолько реально обнаженные под чистым голубым небом, что казалось, до них рукой подать. Над горами парил, как всегда до полудня в солнечные дни, знакомый орел. Природа смотрелась во всей своей первозданности, если не учитывать разросшиеся за последние два десятка лет, по словам местных жителей, жилые районы на холмах ниже гор и по всей плоскости подножий.

Я предложил маэстро вино.

– Грасиас, – сказал он с улыбкой, сняв широкополую шляпу и повесив ее на спинку стула. – Вино пью после обеда, а вот чашечка кофе покрепче не помешает.

Кофе у меня был заранее готов, и я вскоре подал его на стол с галетами. Он вытащил трубку, раскурил ее. Похоже, чашечка кофе была для него чем-то вроде ритуала, как скажем, у русских чаепитие за самоваром с баранками.

– Показывайте,– сказал он, пыхнув трубкой и пустив колечко дыма какого-то ароматного душистого табака, который заполнил весь салон.

Я прислонил к спинке стула, который мне все еще заменял мольберт, портрет женщины, в которой я нашел сходство с Клаудией Кардинале, в образе монахини, при этом стараясь уловить малейшую реакцию маэстро. Он со сдержанной одобрительностью кивнул головой. Я стал показывать поочередно работы, которые он воспринимал с одинаковой реакцией. Наконец, когда я показал ему последнюю работу – это был натюрморт из цветов, он сделал еще один глоток из чашечки, подошел ко мне и со снисходительной улыбкой и добрым прищуром глаз сказал:

– Конечно, вам не хватает профессионализма, должной выучки. Но в ваших работах есть главное для художника – цвет и поэзия. Я бы хотел представить вас завтра же заведующему отделу по культуре при мэрии нашего городка. Я думаю, вас охотно выставят. У них есть хороший выставочный зал.

Я знал, что любая выставка, неважно, где, всегда большая ответственность для любого художника и был откровенно смущен таким неожиданным предложением.

– Вы согласны? – спросил он.

– Заманчиво, но ведь я любитель,– сказал я. – Для меня это испытание. И я в том возрасте, когда художник если и не очень признан, то по крайней мере всегда хороший профессионал. Не будет ли это выглядеть жалко, чем-то вроде посмешища?



– У вас интересная живопись. Вы имеете свой стиль, восприятие, это очень важно, вы чувствуете цвет, то, что дается от Бога.

Мне показалась преувеличенной его оценка моих работ, впрочем, я не заметил в нем ни малейшей склонности говорить дежурные комплименты.

– Ну что ж, я согласен, – сказал я. – Хотя в этом есть авантюра.

– Вам необходимо только оформить свои работы в рамы. Тогда они будут выглядеть собранней.

– Какие, на ваш взгляд, рамы подойдут для них?

– Самые дешевые. Распилите по формату каждой картины на тонкие полосы обычный фанерный лист, покрасьте листы в темные цвета, и этого вполне достаточно. Главное, обойдется недорого.

Мне сложно было объяснить свое состояние после встречи с ним. От неожиданного признания им моих работ и тем более предложения выставиться я испытывал волнение, похожее на то, когда заходишь в воду, где дно глубокое, а ты еще не умеешь плавать. Как бы не утонуть. И все же так и тянет зайти. Для всех моих домашних это тоже было неожиданностью, но, надо сказать, очень приятной. Жена, вообще склонная к юмору, сказала:

– Ну вот, кажется, ты в самом деле становишься тем самым Тицианом.

– Есть шанс сказочно разбогатеть, – отреагировал в свою очередь и я шуткой. – Купим дом, машину, положим оставшееся на счет каждому из детей и так доживем до счастливой старости. Будем пить чай из самовара с вишневым вареньем и баранками в компании друзей-пенсионеров, смотреть закат солнца где-нибудь у моря.

– Пошлый романтик, – сказала жена, впрочем, не скрывая своей радости. – Последний динозавр

эпохи романтизма. Или мамонт. Ты не краснел, когда тебе предложили выставиться?

– Ты же знаешь, что я этого не умею.

– Уж это я знаю. Ты совсем не покраснел, когда у тебя купил картину наш испанский друг.

– Краснеть — это пережиток прошлого. Откуда взяться совести...

– Самокритика — не худшее качество человека, — сказала жена. — А где наши зверьки, Бэмби где, почему они не радуются твоей победе?

– В спальне, — сказал я. — Отсиживают свое.

– Немедленно освободи их.

Я поспешил это сделать. И судя по тому, как они стремглав понеслись в сторону кухни, я понял, что они тоже радовались моему первому признанию. Бэмби по этому поводу даже пару раз оглушительно рявкнул.

\* \* \*

Выставиться мне предложили в зале галереи «Эль Пуэнте». Название это я воспринял как обнадеживающий символ, поскольку оно означало в переводе на русский «мост».

Зал был небольшой, и я был рад, что моих работ вполне хватит, чтобы заполнить его. До начала выставки оставалось две недели. Дни для меня тянулись, как вечность, хоть я и был целиком поглощен подготовкой к выставке. Я вдруг стал обнаруживать в своих работах изъяны и недостатки, глаз стал острее, возможно, как у того орла в пустыне Каракумы, когда круги его в небе сужались, чтобы потом камнем упасть на добычу. Сравнение, может быть, и натянутое, если учесть, что добычи для себя я никакой не представлял, по крайней мере, ну, если только в лице того, кто вдруг купит картину, во что я

абсолютно не верил. Мне еще предстояло оформить картины в те самые листоны из фанеры, но это уже была та часть работы, которую можно было бы назвать приятным отдыхом на досуге, если бы под ногами постоянно не вертелись кошки в компании Бэмби. Несмотря на то, что семейство мое все больше начинало признавать во мне того самого Тициана, я продолжал заниматься приготовлением завтраков, обедов и ужинов вкупе с другими домашними обязанностями, перечислять которые не берусь. Скажу только, что каждый из мужей должен петь по утрам гимн своей жене, но прежде ему надо поменяться с ней на какое-то время ролями и взять на себя все ее домашние заботы. Да здравствует эмансипация!..

Как-то меня застал за приготовлением обеда журналист из газеты «Сьерра». Молодой, симпатичный, обвешанный фотоаппаратурой. Выяснив, что мы коллеги, он проникся ко мне большой симпатией, стал задавать всевозможные вопросы, предварительно отщелкав меня в нескольких кадрах в компании с моими четвероногими и, разумеется, у холста.

– И вы никогда до Испании не занимались живописью? – спросил он, разглядывая очередной мой холст. – Начать впервые в полсотни лет...

Я сказал ему, что всегда любил рисовать, копировал даже вождей, которых когда-то, как и все, любил, и что года за два до Испании у себя на родине стал изредка баловаться акварелью и гуашью, и даже один раз по настоянию моих друзей-художников выставился с ними в компании.

– Так, значит, это не первая ваша выставка?

– Можете считать, как угодно, – сказал я.

– И все равно это удивительно. Мне очень нравятся ваши работы.

– Признателен, – сказал я.

– А скажите, теперь вы все еще любите тех вождей, которых рисовали в детстве?

Вопрос меня озадачил, хотя я знал, что он был задан без всякой провокационной подоплеки, просто из любопытства.

– Видите ли, – начал я издалека. – У вождей всегда больше шансов ошибиться, чем у обыкновенных смертных, не обремененных властью. Да еще в вопросе создания, скажем, нового общества. Того или иного. Даже в области искусства, вот если бы мы целиком отвергали лидера какого-то направления, то, может быть, сегодня не было бы того же импрессионизма, экспрессионизма, или фовизма, футуризма, кубизма. Процессы преобразования или поиска пути к идеальному в обществе, как и в искусстве, всегда в чем-то схожи. И не всегда обходятся без жертв.

– Оригинально, – сказал мой коллега. – Такой трактовки о вождях и искусстве я еще нигде не читал и ни от кого не слышал. Не возражаете, если я это запишу?

За неделю до открытия выставки мой коллега опубликовал в газете интервью и мою фотографию, причем в такой позе, что читатель вполне мог подумать, что его ждет встреча с живописью ну если не какого-нибудь уставшего от бремени славы и всеобщего признания мэтра живописи, то уж на все сто основательно признанного – коллега выловил-таки меня, пыхтящего трубкой, которую мне подарил один из моих испанских друзей, сказав, что с ней я буду больше похож со своими сединами и бородой на серьезного художника или даже писателя. Мне же, не особо склонного к эффектам, трубка просто позволяла экономить на табаке.

– Ну вот,– сказала жена, прочитав текст интервью и разглядывая мою фотографию. – Доигрался на старости. А где же твоя скромность, ты что, в самом деле себя современным Тицианом возомнил?

Тем не менее она была по-своему рада, что не где-нибудь, а в стране Веласкеса, Гойя, Пикассо и Дали ее беспечного и весьма легкомысленного мужа начинают признавать художником. Вроде бы начал махать кистью для утешения души, забавы ради, а тут на тебе – выставка, интервью в газете, да еще с фотографией, где, закинув ногу на ногу, муженек пыхтит трубкой. Ну нахал, ну хам, где еще такого сыщешь на свете. Ну, а дети уж совсем всерьез стали гордиться папашей-живописцем. Смущало же меня больше то, что изменилось как-то мигом отношение ко мне всех соседей по дому. И без того любезные и доброжелательные, они стали подчеркнута вежливо здороваться и провожать меня больше обычного любопытным взглядом, уступали дорогу при встрече на лестничных маршах или еще где. Когда я спускался, чтоб окунуться в бассейн (дни были жаркие), меня встречала каждый раз приветствием старушка, сидевшая в кресле-качалке на террасе: «Буйнас диас, сеньор. Ке тал, тодо бьен?» Я отвечал, что «тодо бьен», хотя это было и не так, и тихо радовался, что с этой старушкой (ее звали донья Патрисия) у меня уже не будет конфликтов по поводу того, что мой Бэмби почему-то всегда мочится на цветочную клумбу рядом с ее террасой.

– У вашей собаки, сеньор, нет совести,– каждый раз упрекала она с террасы. – Это же не что-нибудь, а цветы, украшение нашей жизни. Видно, совсем она у вас беспородная.

– Да, сеньора, – соглашался я. – Приблудная, подобрали у мусорки, какая уж тут может быть порода.

– Но как-то же надо воспитывать ее, сеньор, – мягко назидала она. – Иначе со временем у вас будут с ней проблемы.

«Где уж тут до воспитания собаки, – невольно думал я, спеша быстрее окунуться после диалога со старушкой в бассейн, – если не всегда найдешь время уделить детям. Ко всем проблемам еще и эта, хотя права старушка, на цветы в самом деле неприлично мочиться. Все же красота...»

В бассейне я тоже стал замечать на себе пристальное внимание окружающих. Вначале мне пришло в голову, что, может, что-то не в порядке с моими плавками, вдруг разошлись по швам в неположенном месте или что другое. Но нет, все было в порядке. Отчего же такое внимание, я все же не Шварценеггер, обычная фигура рядового труженика, ну, может, что-то еще сохранилось с тех дней, когда я нарастил какие-то мышцы, занимаясь боксом на флоте. Но если с первой предстоящей выставки к моей персоне уже столько внимания, то что же будет дальше? В общем-то я особенно не тешил себя иллюзиями, и все же думал – да, в самом деле слава – тяжкое испытание, уж если меня начинает несколько раздражать даже сейчас необычное внимание к моей персоне, которая желает заниматься живописью больше для успокоения души.

\* \* \*

И вот наступил день открытия выставки. Я уже успел развесить свои работы в зале, что, как выяснилось, не такое уж простое дело. Надо было для каждой работы найти нужное освещение, разобрать-

ся, какую с какой вешать рядом, чтоб не нарушить общую палитру, близость темы, композицию и многое другое. В целом, как мне казалось, я вполне успешно справился со своей задачей. Жена выкроила для открытия выставки из нашего скромного семейного бюджета деньги на покупку вина и прочего. Конечно, я составил ценник для картин, размножив его в нескольких экземплярах. Я записал в него самые скромные цены, чем удивил и в какой-то мере огорчил не только мою жену, но и своего крестного отца в живописи, организовавшего для меня выставку. Его звали Альберто Эрнандес.

— Такие низкие цены ставят под сомнение достоинства вашей живописи,— сказал мой маэстро,— даже если для вас это не столь важно. Это тема особая, поговорим как-нибудь в следующий раз. Но раз вы уже поставили такие цены, то пусть остаются. Опыт со временем многое подскажет вам.

Жена охотно поддержала его.

— Ты столько трудился и продаешь за копейки,— сказала она. —Уважай себя, свой труд.

«Спасибо, моя дорогая,— невольно подумал я. — Я тебе благодарен за то, что ты довольна, ценишь мой труд и знаешь, что есть хоть какой-то шанс для повышения нашего семейного бюджета. Надеюсь, что не только этот шанс важен для тебя, но и то, что мои работы содержат хоть какое-то искусство».

Народу на открытие выставки, вопреки моему ожиданию, пришло много. Наверное, все-таки сработала публикация в газете, и еще то самое фото с трубкой в руках — ну, мэтр, никак не меньше. Пришли большинство наших друзей, знакомых, соседей по дому.

— Видишь, какая солидная публика,— попрекала взволнованная и заметно гордая за меня жена. — Я



ведь тебе говорила, надень костюм, а ты, как всегда, со своим упрямством, влез в застиранную безрукавку, в которой даже на улицу стыдно выходить.

– Мама права, – поддержала старшая дочь. – Ты никогда ее не слушаешь. Это же выставка, первая в твоей жизни. Это же событие. Папа, почему ты такой непослушный, даже наш Бэмби не такой. Даже кошки.

– Они послушней, – согласилась младшая дочь, будущий музыкант и ветеринар. – Но все же я прошу, не дергайте папу сейчас, он и без того нервничает.

– Я всегда знал, что ты больше любишь кошек и собак, чем меня, – сказал я, обняв ее и погладив по голове. – Но и отец твой чего-то стоит.

– Еще бы, – протянула она. – Смотри, сколько людей пришло на твою выставку. Ты скоро станешь знаменитым и купишь мне настоящего жирафа и гобой.

– А мне рояль, – пошутила старшая дочь, – желательно «Стэйнвен».

– Ничего им не покупай, – подал голос младший сын. – Они не заслужили.

– А что тебе купить? – спросил я его, поддерживая игру. – Кларнет?

– Нет, купи мне «Порше», – сказал он. – Но если не потянешь, могу согласиться и на спортивный «Мерседес». Надежная машина.

– А мне ничего не надо, – поймав мой вопросительный взгляд, сказал старший сын. – Я только хочу, чтоб у нас в семье было все в порядке. Чтобы мы жили мирно и понимали друг друга.

– В кого ты такой умный? – обрадовалась жена словам старшего сына. – Просто мудрец.

– Есть в кого, – сказал сын. – Один из моих предков читал лекции о Ницше и Достоевском в Санкт-Петербургском университете. А это уже кое-что.

– Ну, а с материнской стороны? – тут же среагировала жена. – Что, нет никого достойного? Мой дед был лучшим лекарем. А бабушка была первой красавицей в городе.

– Но все же не мисс мира, – сострил сын. – В общем, оба вы у нас умницы.

Между тем я все чаще ловил на себе взгляды прибывающей на выставку публики. Я подошел к столику со скромным угощением по поводу открытия выставки и налил себе в пластиковый стакан вина. Ко мне подошел мой Альберто Эрнандес и с ним еще двое, как выяснилось, художники, которым он меня сразу же представил. Я разлил им всем в стаканы вина.

– За твой успех, – сказал Эрнандес. – Твои работы вызывают интерес. Я не ошибся.

Двое других художников присоединились к тосту, и мы выпили.

– Каким вы называете свой стиль? – спросил один из художников.

– Не знаю, – сказал я. – Я могу сказать только, какой мне нравится.

– И какой же?

– Больше экспрессионизм. И примитивизм. Мне нравится Макс Бекман и примитивист Пиросмани.

– Пиросмани?.. Что-то не припомню. Это из эпохи Возрождения?

– Ну, если так можно сказать о дореволюционном периоде в России, в частности, в Грузии, то да. И еще какое-то время послереволюционном, когда художник умер еще не старым в нищете.

– Он писал в стиле Анри Руссо?

– В своем, в стиле Пиросмани.

– Но все же, кого он напоминает?

– Не берусь судить. Ну, может, Анри Руссо в той мере, в какой Грузия напоминает Францию. Или наоборот. Он ни на кого не похож.

– С его работами можно познакомиться через Интернет?

– Надеюсь, – сказал я, – он достаточно известный художник. Лично для меня он великий. Впрочем, не только для меня.

– Обязательно отыщу его через Интернет.

– Не пожалеете.

Наш диалог прервала женщина в черном одеянии. К своему удивлению, я узнал в ней ту самую женщину в баре, в которой я обнаружил сходство с Клаудией Кардинале.

– Поздравляю, – сказала она, улыбнувшись. – Мне нравятся ваши работы. Одну из них я хотела бы приобрести.

Мой крестный отец подмигнул мне. Я извинился перед ним и его компанией и подошел с сеньорой Марисой (так ее звали) к работе, которую она пожелала приобрести. Это оказался ее портрет, который я написал по памяти.

– Я знаю, что это мой портрет, – сказала она. – Хотя внешне особого сходства я не нахожу. Но никто из тех, кто писал мой портрет, не понял моего внутреннего мира так, как вы.

– Я не надеялся больше вас встретить, – сказал я.

– Мне сказали, что вы уехали.

– Я навестила свою старую тетюшку. О вашей выставке я узнала из газеты. Но почему у вас такие низкие цены?

– Больше шанса продать.

– Сомневаюсь. Вас не все поймут. Во всяком слу-

чае, если б вы поставили цену на мой портрет выше, даже в пять раз, я бы все равно его купила.

– Благодарю, – сказал я, растерянно пожимая плечами.

– Я могу вам заплатить прямо сейчас. А портрет заберу, когда скажете. Позвоните по тому же телефону, что я вам дала. – Она протянула мне конверт. – Там деньги. Посчитайте. Деньги любят счет.

– Нет, – сказал я. – Вам я верю.

В тот день у меня купили еще две работы. И я впервые в новой для себя обители почувствовал себя в самом деле сказочно богатым. Как и все мое семейство, я посчитал эту выставку настоящим триумфом.

– На «Порше» пока не потянем, – сказал я окружившему меня семейству. – И на «Стэйнвен» с го-боем тоже, но хорошую пирушку дома вполне можно устроить. И покрыть некоторые долги. Подкупить больше корма для всех, не исключая четвероногих.

– Кто эта красotka в черном? – спросила жена, когда мы, поотстав от детей, уже ближе к ночи возвращались домой. – Она так влюбленно смотрела на тебя.

– Клаудиа Кардинале, – сказал я.

– Я не шучу. Ты был раньше с ней знаком?

– Да.

– Вспомнил свою холостяцкую жизнь... Ты неисправим.

– Вспомнил, что она очень похожа на любимую актрису. Хотел написать с натуры ее портрет, но не удалось, она уехала.

– Где ты с ней познакомился?

– В баре. Она вдова. Но я же не спрашиваю у тебя, где ты познакомилась с тенором, которому аккомпанируешь.

– Это моя работа.

– Писать картины тоже стало моей работой. Но давай не будем омрачать этот день. Ты ведь рада за меня. Дети тоже. Может, я наконец не буду для вас обузой. Безработным дармоедом.

– Я тебе этого никогда не говорила.

– Я знаю. Я сам себе это говорил. Давай лучше подумаем, как отпраздновать этот день. Может, избавим себя от домашних хлопот и зайдем в какой-нибудь бар, в «Пиццу» или «Макдональдс», думаю, дети охотно согласятся.

– Еще бы, – сказала она. – Ты все тот же транжира. Деньги для тебя ничто.

– Деньги – условная вещь, – сказал я. – Когда они есть – хорошо, когда их нет, не обязательно сходить с ума. Всегда можно найти для себя спасение и без них.

– Умен, – улыбнулась жена, обняв меня за плечи. – Философ. Стоик.

Хорошо отпраздновав мою первую в жизни выставку, мы вернулись домой только к полуночи и, собравшись в салоне, еще долго говорили о моей выставке. Я впервые почувствовал себя счастливым в новой для себя стране, и в этом состоянии стал размышлять о вещах, далеких от живописи. Я не очень хорошо знал историю Испании, только общеизвестные вещи – о Христофоре Колумбе, открывшем Америку, о конкистадорах, позже завоевавших ее и приобщивших аборигенов к своей культуре и религии. Также знал кое-что из более раннего прошлого этой страны, времени Великого переселения народов, когда в Западную Европу пришли разные племена с востока и Азии, которых ныне именуют варварами, наполняя это слово не самым лучшим содержанием – жестокость, кровь, насилие, все то,

что связано с вторжением и завоеванием. Я не историк, и мне сложно судить о том, кто, когда, где и в чем больше проявлял варварство, завоевывая не важно, где, страны и народы. Но я знал, что, скажем, скифские племена и, в частности, одно из них – аланы, мои предки, при всем негативном представлении у многих о варварах, владели не только наукой побеждать, но так же хорошо умели создавать всевозможные изделия, возведенные на уровень высокого искусства, из золота, из керамики, все то, чем сегодня гордятся разные музеи мира, в том числе и европейские. Я знал, что благородство и содержание многих их обычаев вполне достойны нынешних времен. Знал, что один из семи мудрецов древности был скиф Анахарсис.

И думал о том, как важно знать и помнить лучшие вехи истории каждого народа, чтобы находить между собой согласие и понимание или разумный компромисс. И невольно задумывался о сути какой-либо нации, обращаясь к примеру Великого переселения народов, зная, что этот процесс, который ныне именуется другим словом – массовой эмиграцией с логическим следствием – интеграцией, может, как никогда велик и важен сейчас. Я не могу себе представить, скажем, в той же Испании, какой-то внешне очень характерный тип испанца, зная, какие процессы ассимиляции происходили в разное время в этой стране между народами, в числе которых были в значительном количестве и мои предки – аланы, которые, по свидетельству ученых историков, были высокими, темно-русыми и сероглазыми. Немало таких и среди испанцев, иные просто вылитый нордический тип, другие – яркие брюнеты с жгучими темными очами, во внешности третьих я угадываю монголоидное начало, возможно, генетическое на-

следие от тех же гуннов, хотя и они не все были монголоидами, их грозный предводитель Атилла, по преданию, был высок, строен и голубоглаз, – тип, который я часто встречал у тех же татар или башкир. Помню, в разговоре об истории, где была затронута расовая тема, я вспомнил один забавный эпизод. Как-то зашел ко мне один из моих соотечественников, весьма чем-то озабоченный и взволнованный.

– Проблема, – сказал он. – В суд вызывают.

– За что?

– Моя собака имела случку с собакой моего соседа.

Я не раз видел в его доме с десяток или больше кошек и трех собак, которых он приютил. Он был музыкант и, видимо, как и моя младшая дочь, в свое время мечтал стать ветеринаром, так сильно любил он животных и был привязан к ним. Возможно, в этом он еще находил утешение от одиночества и тяжелых мыслей, которые его нередко посещали, как и многих, кто по разным причинам покинул свое отечество.

– Такое бывает. Но что плохого в том, что твоя собака имела случку с собакой соседа?

– Плохого ничего нет, – сказал он. – Но ведь мне теперь штраф платить соседу.

– За что? – удивился я.

– Ну как... Его же собака ротвейлер, он ее спаривает с ее же породой, и когда рождаются щенки, он их продает. Это у него как бизнес. А моя без породы, обычная дворняжка, какая же после него порода родится. Попробуй такую продать. Короче, он в убытке на этот год, за что и подал на меня в суд.

– Но ты-то при чем?

– Он сказал мне, что собаку надо на цепи держать.

– А почему он свою не держит?

– Потому что у нее чистая раса. Он считает, что она умней моей собаки и сама никогда не полезет к моей. Ты можешь пойти свидетелем в суд и сказать, что моя собака всегда на цепи бывает? Ты же это знаешь, не раз был у меня дома, видел.

– Я не против, но как тогда объяснить их случку?

– Цепь случке не мешает. Видно, его собака сама пришла к моей. Иначе как могло такое случиться?

– Логично, – сказал я, едва удерживаясь, чтоб не рассмеяться.

Я согласился выступить в роли свидетеля, и все обошлось без расового конфликта и даже без штрафа. Сосед оказался вполне симпатичным человеком и пригласил нас после суда в бар, где мы выпили испанское вино тинто. Я произнес тост за дружбу всех рас. Мой соотечественник на следующий день пригласил в свою очередь нас с соседом в бар. Мне как старшему и посреднику между ними вновь был поручен тост. На этот раз пили водку.

– За любовь ко всем живым существам на свете, – сказал я. – Независимо от рас, национальности и вероисповедания. Меня охотно поддержали.

Теперь, после выставки, мне думалось больше именно об общечеловеческих проблемах. Я долго не мог уснуть. Я вспомнил – уже который раз – свое детство, еще не замутненное жестокостями и испытаниями жизни. Эти воспоминания давали мне надежду и силы выжить и у себя на родине, и в новой для себя стране. Вспомнил свое отрочество, когда я в лесах Предгорья охотился на лис с нашим соседом, стариком Доте. И он мне сказал, идя впереди меня и не оборачиваясь, когда мы поднимались по узкой лесной тропинке: «В жизни есть многое, что



делает из тебя мужчину, но я думаю, охота здесь не на последнем месте. Так что у тебя сегодня есть возможность показать себя настоящим мужчиной». Мы вышли на опушку леса и стали ждать. «Она должна выйти чуть позже, – сказал Доте. – Когда солнце выше поднимется и сойдет роса на траве. Тогда начинают выползать из нор всякие грызуны, и в кустах шевелятся куропатки». Лисица не появлялась. «Может, учуяла нас, – сказал Доте. – Тогда надо менять место, выйти на другую сторону леса». Мне было не страшно, потому что я много слышал о том, какой Доте охотник. Он без промаха стрелял горных туров на большой высоте, пробираясь к ним по снежным горным тропам над пропастью. Бывало, подстреленный им тур падал в пропасть. Тогда он спускался туда, рискуя сорваться и быть погребенным под снежной лавиной. Он поднимал на плечах тура из пропасти, и семья на всю зиму была обеспечена мясом. И те, кто охотился с ним, всегда удивлялись его выдержке и хладнокровию, особенно в охоте на диких кабанов, которая была опаснее, чем охота на волка или медведя. Однажды, по словам тех, кто с Доте охотился, кто-то ранил кабана и, разъяренный, он пошел прямо на охотников. Он летел на них, как снаряд, и все бросились в овраг, чтоб оттуда встретить кабана выстрелом. На месте остался только Доте. И они видели, как стремительно приближается к нему кабан и слышали, как ломаются и трещат за ним сучья кустов. И только когда кабан приблизился на расстояние не более двух десятков метров, Доте нажал на курок. Когда я спросил, почему он тогда так рисковал, он ответил: «Кабан, как и любой хищник, чувствует, когда его боятся, и становится опасней. Он может настигнуть тебя где угодно, куда бы ты ни спрятался в этот миг, и

разорвет тебя. Лучше спокойно выждать, в крайнем случае быстро отскочить в сторону, и он тебя не успеет задеть, тогда ты можешь стрелять вслед. И если он развернется, добавить в голову, и тогда он твой». Мы вышли на другую сторону леса, и Доте сказал: «Жди меня здесь, а я зайду в лес, чтоб выгнать лис. Я скоро приду, и мы вернемся на прежнее место». Я остался один. Какое-то время я стоял, но потом мне надоело, и я приблизился к лесу. Увидев кусты малины и дикого орешника, я стал лакомиться. Увлечшись, зашел чуть глубже в лес, где было больше кустов. И вдруг, совсем рядом, сквозь деревья и кусты я увидел медведя. Он занимался тем же, чем и я: стоя на задних лапах, срывал с кустов малину, не обращая на меня никакого внимания. Я не сразу осознал опасность и какое-то время стоял, разглядывая его. Сообразив, что это тот самый, настоящий медведь, который одним ударом лапы может снести мне голову или разорвать, я хотел бежать во всю мочь. Но продолжал стоять и смотреть на него. Я не знаю, может, в этот момент в моем подсознании всплыли слова Доте – не бежать от хищника. А, может, так сработал инстинкт самосохранения. Медведь вскоре стал на все лапы и, переваливаясь с боку на бок, удалился в глубь леса. Вскоре из леса вышел Доте. Он был заметно взволнован и спросил меня: «Ты видел медведя?» «Да, – сказал я. – Он ел малину и потом ушел». «Я знал, что он тебя не тронет, даже если б ты стал от него бежать. Он не голодный. Но все равно у меня сердце упало». «А почему ты его не подстрелил?» «В самом деле, такая удача редкость, когда медведь от тебя в двух шагах. Но я знал, что он тебя не тронул, и если б я его подстрелил, это было бы несправедливо». Мы вернулись к прежнему месту ждать лисицу. Вскоре

она трусцой выбежала из леса, сверкая рыжей шерстью на солнце, и казалось, что от утреннего ветерка хвост ее все больше раздувается. Доте прицелился, но когда лисица была совсем рядом, опустил ружье. «Не могу, – сказал он. – Первый раз не могу выстрелить в зверя». – «Почему? – спросил я. – Она же была совсем рядом». – «Медведь же не тронул тебя, – серьезно сказал он, поглаживая рукой седую бородку. – И, может, это был совсем не медведь, и послал нам лису как испытание – тронем мы ее или нет. Я знаю, что такое может быть».

Я как-то рассказал об этой охоте детям и спросил у сыновей: «Правильно сделал Доте, что не убил медведя и лису?» И был рад услышать, что они поступили бы так же.

\* \* \*

Я плохо спал и утром проснулся буквально разбитый. Дети ушли в школу, жена готовилась уходить на работу.

– Доброе утро, товарищ Тициан, – весело приветствовала она меня. – Теперь всем ясно, что ты гений, но в магазин за продуктами тебе придется все же идти. Сделай что-нибудь вкусное на обед, ведь теперь мы богатые.

«Боже, опять, – подумал я. – Нет, чтобы подать гению в постель кофе, ублажить слух какой-нибудь красивой музыкой, чтобы он, набравшись сил и вдохновения, бодренький и счастливый, потянулся к холсту... Нет, что ни говори, а прав, в самом деле, восточный человек Айдурды Абасович...»

– Все-таки что-то есть в многоженстве, – пробормотал я, поднимаясь с постели. – Ты не находишь, милая?

– Я не возражаю, – сказала жена. – Стань гением, разбогатеи и бери хоть десяток жен. Турецкий султан.

– Ревновать не будешь?

– Буду только рада. Избавлюсь от многих забот. Ревность вымирающее чувство, это частнособственнический инстинкт. Великая любовь – это когда любимому верят, ни в чем не ограничивают.

– Какие крайности...

Я не стал вступать в дискуссию, зная, что она может перерасти в конфликт, в котором, как это обычно бывает, невозможно выяснить, кто прав, кто виноват.

– Что все-таки приготовить на обед? – спросил я, невольно косясь на поджидающий меня холст в салоне. – Борщ, гарбансус, лентеху?

– Борщ и на второе что-нибудь рыбное. Детям нужен фосфор, он полезен для костей и мозгов. Все-таки растущие организмы.

– Не слишком ли много рыбного? – спросил я. – Всю неделю ели только рыбное. Ночью будем светиться от фосфора, пугать людей.

– Не напугаем. Люди давно ко всему привыкли. Иммуитет на все.

– Значит, рыбное, – сказал я. – Что ж, будем светиться. Звездно сиять.

– Ну, звездно, это когда детям будем уделять больше внимания. Ты бы проследил, чтоб больше занимались уроками, музыкой. Тогда, может, и будет больше звездного в ночи...

«Она права, – подумал я. – Надо думать о звездном будущем детей. А ты, похоже, давно и безнадежно опоздал со своей звездой. Безработица хуже войны... А что, если скоро распродам все? Куплю настоящие холсты, хорошие кисти и буду писать настоящие картины не дешевой акрилкой, а маслом. Тогда выходит, война хуже безработицы. Впрочем, смотря какая война. Третья мировая едва ли,

тогда все останутся без работы. Некому будет работать. Так что же лучше – безработица или война? Нет, хорошо бы обойтись без них обоих, и всем работать, желательно по призванию. Впрочем, можно и без призвания. Может, не всем это дано, может, не у всех оно есть, и не всем это надо?»

Шло время. Подрастали дети. Разумнее становились наши кошки и пес Бэмби. Кошки меньше реагировали на мои манипуляции у холста, не опрокидывали банки с водой, не грызли кисти, перестали по ночам играть на фортепиано. У Бэмби давно прорезались зубы, и он уже не рвался грызть корешки книг. Семья моя все больше признавала во мне художника, как, впрочем, и соседи по дому, и многие наши друзья, знакомые. Я становился местной знаменитостью. В нашем городке ко мне все чаще обращались не иначе, как маэстро. Вначале мне казалось, что надо мной подшучивают, позже выяснилось, что почетное звание «маэстро» закрепилось за мной всерьез. Маэстро? Гм...

«Ну какой же ты маэстро, – спрашивал я себя. – У тебя ведь кроме наркотической страсти к живописи ни черта нет. Ты ведь не освоил ни техники рисунка, ни как обращаться с красками, какую с какой смешивать, чтоб получить нужный сложный тон, не знаешь ничего о композиции, форме, все делаешь на ощупь. Жалкий любитель. Тебе не хватает тех самых академических знаний в полном объеме. Ты не знаешь как положено историю живописи, искусства вообще. На что же ты надеешься, маэстро, что тебя спасет, где у тебя шанс выйти на такой уровень, когда художник действительно заслуживает этого высокого звания – маэстро!» В то же время другой голос мне говорил: «А Пиросмани, он ведь ни у кого не учился. А Ван Гог, Гоген, Модильяни,

многие импрессионисты, они ведь не кончали академий». — «Да, — возражал первый, — но они брали уроки живописи у мастеров, друг у друга, а ты? Может, ты на холсте открываешь Америку через форточку? Жалкий самоучка...»

И чем больше меня забирала страсть к живописи, тем больше я мучился противоречиями. Но я стал замечать и другое: кисть моя становилась все увереннее, рисунок точнее, форма выразительней, композиция уравновешенней, цвет тоньше.

«Работай, — заключил я. — Работай много, по возможности все двадцать четыре часа в сутки. В конце концов, что есть школа, академия — это тоже опыт, практика поколений многих мастеров. Ну, а у тебя свой опыт, опыт вынужденного безработного, беженца, отца многодетного семейства. Твой собственный опыт...»

Одна выставка, другая, третья. В городках и городах разных провинций страны великого Веласкеса, Пикассо, Дали. Уходила прежняя робость, приходило все больше уверенности, но всегда оставалось волнение. Удивительная вещь, чем больше я испытывал страданий и невзгод в новой для себя обители, тем больше любил ее. Что это, психология раба, приспособленца? Да, но ведь сколько было любви, уважения, сострадания и помощи разных людей к тебе и твоей семье в этой стране, а почему-то они не вызывали у тебя достойных ответных чувств, эта помощь казалась тебе нередко унижением и подачкой. Что это, гордыня, болезненное честолюбие, боль за свою страну, ее великую культуру? Во мне, как заноза, жило много разных мыслей. Они не давали покоя, мучили по ночам, доводя порой до отчаяния и безысходности, и больше всего меня терзало одно — будущее моих детей. И здесь на выручку приходи-

ла живопись. Я часто вспоминал рефрен знакомого поэта: «Только бы не сойти с ума... Только бы не сойти с ума...» И думал – как он там, этот поэт? Тогда, в доперестроечную эпоху, он еще не сошел с ума. От него сходила с ума его жена–москвичка, не один год держа его на своем иждивении, не сомневаясь в исключительной одаренности мужа–провинциала. А как он теперь, все так же сыт, обут, одет, все в том же ресторане ЦДЛ с печальными глазами непризнанного гения и непревзойденного эпикурейца, нашептывает все с тем же придыханием свой рефрен: «Только бы не сойти с ума... Только бы не сойти с ума...»

Я сходил с ума оттого, что мне не хватало уединения, чтобы в тесном пространстве жилья оставались только двое – я и холст. И еще мой диалог с ним без свидетелей перед очередным поединком. Уединение для того, чтобы сконцентрировать всю свою волю, всю ту меру способностей и вдохновения, что дано Тем, что свыше, что водит кистью и пером. И я хотел услышать больше этот голос –рука же и сам по себе я, как материальная форма, были только исполнительным инструментом. По крайней мере, я так себе это представлял и так чувствовал.

И, кажется, судьба стала благоволить ко мне и моему семейству. В один прекрасный день к нам приехала погостить из Москвы подруга жены. Женщина разведенная, забальзаковского возраста, не утратившая в себе пыл, энергию, жажду деятельности и желание хоть чем–то помочь своим друзьям – многодетному семейству на иных берегах. В общем, из тех русских женщин, о которых поэт сказал: «Коня на ходу остановит, в горящую избу войдет...»

Горящей избой в то время для нас была без преувеличения наша московская квартира. История

рождения этой квартиры вполне заслуживает романа с подробной ретроспекцией теперь уже, можно сказать, исторического прошлого со всеми хитросплетениями социально-бытовых дразг, всевозможных комбинаций, так распространенных среди всех, кто жаждал получить жилье в коммунальном обществе, да еще в престижной столице. Начало рождения этой квартиры предполагало рождение моей матери и в дальнейшем всех ее заслуг на ниве здравоохранения в провинциях Кавказа и позже в столице страны. Ее удосужили маленькой комнатухи в коммунальной квартире, где проживало три семьи, каждая из которых тоже вполне заслуживает пера бытописца. Конечно, там был полный набор всего, что так знакомо тем, кто жил в коммуналках. Очередь в один туалет на всех в час пик, бои за место у газовой плиты, чтобы раньше приготовить завтрак, обед или ужин. Иногда мордобой или нечто близкое этому, чтобы выяснить, сам ли таракан – этот привилегированный жилец всех коммуналок мира – влез в кастрюлю с супом, заметно подгорчив его своими специями, или же насекомое подбросил неуловимый мститель, тайный агент коммунальной разведки, подкупленный агрессивно настроенной стороной. Жило нас в комнатухе четверо (сестра уже вышла замуж): мать, отчим, его племянник и я. Мать и отчим честно отработывали свой стаж для пенсии вместе со счастливой старостью. Племянник отчима и я, оставаясь без надзора своих опекунов и воспитателей, познавали в подробностях все прелести уличной жизни, разобравшись в ней в чем-то, может, больше, чем дядюшка Гиляровский. В то время великого диктатора уже сменил предвестник будущей демократии и непревзойденный специалист в кукурузных делах. Коро-



че, наступила оттепель, и на просторах великой страны стали расти, как грибы после дождя, дома, которые известны в современной истории как «хрущевки». И тогда мать за ее заслуги в медицине удостоили в одной из «хрущевок» комнаты, но уже не с тремя, а только с одним соседством. И мы облегченно вздохнули, – уже не было очередей в сортир в часы пик и битвы за место у газовой плиты на кухне. И уж точно было ясно, что никто не подбросит тебе в суп таракана, ежели он не угодит в него добровольно сам. Я рос, мужал, набирался жизненного опыта, все чаще в тесном общении с женским полом, – оттепель была в разгаре, и после диктатуры желалось быстрее вкусить все земные блага, даруемые демократией, из которых женщины в ту пору для меня, как и для большинства моих сверстников, и, прежде всего, моего друга-романиста, были высшим и несравненным благом.

– Женись, – повторяла мать, видя, что мой неумный блуд подвел меня уже к черте старого холостяка. – Подхватишь какую-нибудь неизлечимую заразу, и тогда ни семьи, ни детей. Кому ты нужен будешь, я не вечна, отчим тоже.

– Где я буду жить с женой и детьми? – вполне трезво реагировал я на сердоболние матери. – В одной комнате с вами? Я нищий журналист, на свободных хлебах, кто и когда мне выделит комнатушку, тем более квартиру? Здесь надо в партию вступать и, не сбиваясь с намеченного ею пути, делать карьеру. А я так не умею.

– Ну, снимем тебе комнату сообща.

– Хорошо, согласен. Но ведь я еще не влюблен по-настоящему, ну так, чтоб на всю жизнь.

– Стерпится – слюбится, – не отступала мать.

– А я не умею терпеть без любви.

– И в кого ты такой?..

Не хотелось говорить матери: «Ну отчего же у вас с отцом не стерпелось и не слюбилось?» Я-то знал, сколько ей пришлось пережить в жизни.

Вскоре мать с отчимом вышли на пенсию и рьяно принялись за общественную деятельность при местном жэке, выйдя на роли ведущих лидеров. Они пытались решить проблемы, которые не под силу было решить многим государствам на разном историческом этапе развития, и искренне верили в светлое будущее коммунизма. Законченным алкоголикам внушали, что пить вредно для здоровья. Местным дебоширам и хулиганам объясняли, что бить человека по лицу или оскорблять его нецензурными словами не к лицу строителю коммунизма. Пристыжили женщин легкого поведения, напоминая, что честь надо беречь смолоду. Шли чуть ли не врукопашную с чиновниками и бюрократами в своем жэке и в райисполкоме. И были счастливы, когда в ответ за все свои благодеяния получали в знак благодарности очередной лощеный листок «Почетной грамоты» из рук тех же чиновников и бюрократов. Прошли годы их неутомимой общественной деятельности, и когда мать с отчимом совсем уже состарились, решением райисполкома нам выделили отдельную двухкомнатную квартиру в том же доме.

– Женись, – теперь мать была настойчива, в отличие от отчима, который лучше понимал мою неисправимую мужскую суть. – Теперь ведь у нас отдельная квартира из двух комнат.

– Влюбиться надо, – жестоко отрезвлял ее я. – Как же так можно, ведь не подобает это строителю коммунизма, без любви...

– Вот видишь, – в отчаянии обращалась мать к отчиму. – Вот к чему его привела беспартийность.

Вот что значит не вступил как все в комсомол. И в кого он такой пошел! Мы коммунисты. Отец его тоже был образцовый коммунист, хоть и не без недостатков. Ну, в кого он такой, спрашивается.

– У меня свои убеждения на этот счет, – как можно мягче возражал я.

– Убеждения у всех должны быть одни, – не сдавалась мать. – Вовремя жениться и обзавестись детьми. Вступить, наконец, в партию, стать образцовым членом общества.

– Как товарищ Брежнев, – не удержался отчим.

– У меня нет таких бровей, – подыграл я отчиму.

– И дикции.

– Вот видишь, как он аполитично мыслит, – вполне серьезно реагировала мать. – При чем здесь брови или дикция? Вот у Хрущева совсем не было бровей, однако это ему не помешало быть образцовым человеком и нашим дорогим вождем.

И став многодетным папашей, я с лихвой наверстал упущенное. Опыт матери и отчима в долгих и упорных сражениях с чиновниками на всех уровнях мне, однако, очень помог, – я расширил нашу двухкомнатную квартиру до четырехкомнатной. Вот она-то и стала горячей избой. Зная, что мы соскочили на иные берега и, возможно, даже навсегда, ее хотел прикарманить с одной стороны местный жэк, с другой – наша родня, о чем нам в подробностях и сообщила приехавшая к нам погостить подруга жены. К тому времени не стало отчима, а вскоре и моей матери. Не представляю, как бы они сегодня переживали иное светлое будущее.

– Квартиру надо немедленно приватизировать, – заключила подруга жены. – В этом вам поможет мой свекор. У него совместное предприятие, которое купит у вас ее за хорошую цену и деньги офици-

ально переведет на ваш банковский счет. Иначе вы ее потеряете.

Решение было принято. Квартира была продана. Деньги переведены на счет жены. Мне пока еще не на что и не за чем было его открывать, я был безработный.

— Вот теперь мы сказочно разбогатели,— сказал я жене. — Что мы будем делать на эти деньги?

В сравнении с теми материальными возможностями, которые были у нас, мы в самом деле сказочно разбогатели, хотя в сравнении с иными разными новыми у себя в стране были, разумеется, нищими.

— На то, чтобы купить подходящую квартиру, этих денег не хватит,— сказала жена. — Выкупать у нас ее тоже нет возможностей, мой заработок для этой цели слишком маленький и на это не пойдет ни одна строительная фирма. Банк тоже не согласится дать займы.

— Может, купить дешевенькую квартирку из одной или двух комнат? — предложил я. — Сдавать ее и доплачивать за снятую квартиру. Уже экономия, и на черный день есть недвижимое имущество. Жилье наверняка будет дорожать.

— Я не хочу думать о черном дне. Я только хочу, чтоб наши дети не испытывали постоянную нужду. Мне надоело быть в долгах и зависеть от подачек добрых дядь и тетюшек, это, в конце концов, унижительно. Детям надо нормально питаться, они растут. Здоровье — это фундамент их будущего. Но самое главное, чтобы они не росли с комплексом неполноценности, видя, что другие куда лучше одеты, обуты, живут в полной обеспеченности.

— Но мы не испанцы, хотя и они далеко не все благополучны. Мы беженцы, и нам прописано выше кое-кем не жить, а выживать.

– Кем нам прописано выживать? – с укором сказала жена. – Не Всевышнего ли ты имеешь в виду? Лучше подумай о работе, художество – это хорошо, оно больше тебе в удовольствие, но кормить оно нас никогда не будет. Вспомни несчастного Ван Гога. Ты думал, тебе здесь все подадут на блюдечке? За все надо сражаться.

– Вот я и сражаюсь теперь кистью. Другого шанса нет. Быть пеоном, шансонье, даже ночным сторожем пробовал. Разжаловали. По своей профессии не востребован, здесь своих безработных рыцарей пера хоть отбавляй. Я буду писать картины, дорогая, день и даже ночь. До потери пульса. Я хочу забыться в живописи. Думаю, это лучше, чем в алкоголе и наркотиках.

– Ты неисправим. Всегда найдешь оправдание своим слабостям. Ты о детях больше думай. Об их будущем.

– По-твоему, мы живем в мире одноклеточных?

– Ты всегда найдешь отговорку. У тебя такая профессия.

– Хорошо. Я уйду. Сниму жилье и уйду. У меня один шанс – живопись. Я должен сосредоточиться в уединении и писать хорошие картины. Здесь я их не напишу. Здесь кошки, собака. Здесь обязанности повара, домохозяйки. Здесь не умолкающие гаммы. Не дом, а музыкальная шкатулка. Наши с тобой конфликты, которые отражаются на детях. Они от этого становятся неврастениками.

Я снял мансарду с выходом в небольшое патио, где я отдыхал, устав от работы. Мне там хорошо думалось, особенно по ночам, когда была тишина. Я уже написал несколько работ и хотел еще написать двадцать таких же. Лучше, чем первые. И тогда бы мне вполне хватило их для выставки. И глядя

каждый раз на свои работы, я говорил себе: «Главное, не внушай себе, что ты уже стар и никчем. Не внушай себе, что ты здесь чужой и никому не нужный. В мире много плохих людей, подлых и коварных. Но если среди людей есть хотя бы один хороший человек, то ради этого уже стоит и жить, и продолжать свое дело. И тогда, может, появится еще один хороший человек. Может, это и есть задача искусства. Может, потому художника можно назвать ангелом, посланным на землю Богом. И ты будь счастлив, что у тебя есть живопись. И что у тебя есть хорошая жена, дети. Лучше, чем ты сам. Много лучше. У тебя есть то, чего нет у многих, может, у большинства людей в этом мире. И потому, может, именно, как никто другой, ты должен уметь прощать людям их слабости, хоть тебе очень тяжело. И если ты научишься прощать и никому не завидовать, ни королям, ни президентам, ни гениям, ни богам, ибо не знаешь их жизнь, страдания и муки,— вот тогда ты вправе назвать себя художником. И, может, тогда твои работы будут чего-то стоить».

Как-то, возвращаясь из Мадрида домой, в свой городок, после посещения музея Тюссена я встретил знакомого художника. Его звали Гонсало. Это был нищий художник, и у него были хорошие работы в стиле сюрреализма. Они мне в чем-то напоминали работы Оскара Домингеса, который мне нравился больше Дали. А работы Гонсало мне нравились не меньше, чем работы Оскара Домингеса, и каждый раз при встрече я ему об этом говорил. И он со мной соглашался. Он шел навстречу, и мне казалось, что он не идет, а парит над землей, и его угольно-черные волосы, блестя на солнце, развеваются на ветру,— прямо живой чародей. Под мыш-

кой у него был холст. Он шел мне навстречу, улыбаясь удивительно белозубой улыбкой мавра, обжигая приветливым огоньком и радушием андалузских глаз, которые воспел Лорка.

– Ола, амиго! – приветствовал он еще издали, протягивая мне руку. – Ке тал, комо эстас? Тодо бьен, тодо мал?

– Тодо су пер бьен! – отвечал я. – А как ты?

– Тодо супер мал! – живо перефразировал он меня. – Но жив-здоров. Как твоя живопись? Кое-что у тебя гениально.

– А у тебя все.

– О грасиас, грасиас. Я знаю.

– Где ты купил холст?

– Я купил? Я никогда не покупаю холсты! Я их ворую.

– Как? Зачем?

– Для вдохновения. Чтобы улучшить стиль. Продавец Альфонсо это знает, но прощает мне.

– Фантастике! Давай на пару.

– Почему бы нет? Хоть сейчас.

– Шутка. У меня нет такого таланта. Пока нет.

«Возможно, однажды, Гонсало, и я последую твоему примеру, – подумал я. – Почему бы и нет, когда в кармане нет ни одной песеты, а вдохновение выпирает отовсюду. Почему бы и нет, мой друг Гонсало, искусство требует жертв. И если я однажды от испуга или отчаяния создам действительно шедевр, то, может, мне тоже простит этот грех Господь Бог и лавочник Альфонсо. Но ты, Гонсало, уже точно прощен на всю оставшуюся жизнь. Ты создал уже не один шедевр, дело только за признанием, и тогда на каждую проданную твою картину ты сможешь закупить все холсты мира вместе с красками и кистями и погасить все свои долги с процентами перед

лавочником. И я желаю тебе удачи, мой друг Гонсало, да простит меня Господь Бог за грешные мысли».

Я пригласил его в знакомый бар на Реколетос, светлый и чистый, с выходом на патио, где можно было сидеть в тени деревьев и видеть сердце Мадрида, или, может, самую живую часть этого сердца вместе с Пласа де Колон неподалеку, где есть спасительная прохлада водопада не хуже Ниагарского, особенно когда полуденное солнце тебя одинаково плавит с асфальтом тротуаров. А по другую сторону улицы – Национальная библиотека, у входа которой торгует своими гравюрами еще один нищий художник – Кармело.

Я заказал себе тинто. Гонсало пожелал хинебру.

– Я хочу выпить, мой друг Гонсало, чтобы на холсте, который ты спер у славного лавочника, ты написал лучшее из всего, что у тебя есть.

– Как хорошо, что есть люди, которые легко поддаются розыгрышу, – сказал он. – Наивность – характерная черта таланта. Я разыграл тебя.

– Ты еще и гениальный актер, – сказал я. – И при этом совсем не наивный.

– Я – да. Я совсем не наивен, – сказал он. – И завидую тебе. Меня невозможно разыграть. Тебе в самом деле нравятся мои работы?

– В них есть искренность. Искренность, но таинственная.

– Так, как ты, мне никто не говорил. У тебя, наверное, хорошая проза.

– Может быть, но она еще не написана.

– Чего же ты ждешь?

– Это необъяснимо.

– Почему?

– Есть необъяснимые вещи.



– Понимаю. Значит, у тебя хорошая проза.

– Может быть. Но только во мне.

– Хочу курить, – сказал он. – У тебя есть сигареты?

– Я сейчас закажу для тебя бармену. Я теперь сказочно богат, но не настолько, чтобы купить тебе все холсты мира.

– Как тебе это удалось? Я тоже хочу стать сказочно богатым.

– Это очень долгая история.

– Ты занялся наркотиками?

– Ну, такой дряни мне еще не хватало ко всем бедам. Разве это похоже на меня? Я продал квартиру, Гонсало.

– Это, наверное, очень грустная история.

– Грустнее не бывает. Впрочем, бывает, когда с потрохами проедают не только квартиру.

– Что именно?

– Совесть, например. Иногда проедают кое-что и поважней.

– Я тебя понимаю, – сказал он. – Мне еще больше захотелось курить.

Я позвал жестом бармена. И он скоро подал нам сигареты. Мы закурили.

– То, что ты говоришь, это отражено у Гойя, помнишь его работу «Сатурн поедает своих детей»?

– Возможно, – сказал я. – Только с некоторой разницей. Я имею в виду не Сатурна. У него не было несварения желудка, ожирения и еще много другого, как у тех, кто проедает совесть сегодня и еще кое-что поважней. Ты не видишь это зрительно? Впечатляющая картина, ты не находишь?

– Чистый сюр. Но это надо писать на большом формате, как триптих, – он жадно затянулся сигаретой и заметно погрузнел.

После бара мы еще долго бродили по Мадриду. Нам было о чем говорить. Мы оба были нищими художниками. С разными шансами прийти когда-то к успеху, потому, что он мне годился в сыновья. Не говоря уже о том, что я – чужестранец...

«Будь счастлив, Гонсало, да хранит тебя ангел твой и все святые, – пожелал я про себя нищему художнику, когда мы простились. – Ты живешь в стране, где, несмотря на твою нищету, у тебя есть шанс стать счастливым. Потому что это твоя страна. Правда, теперь это и моя страна, хотя для того, чтобы она была по-настоящему моей страной, здесь должны были родиться еще много веков назад мои предки, и от них еще многие другие, и уж потом я. А если этого нет, то едва ли можно обрести истинное счастье, даже если однажды к тебе придет успех и твое творчество будет оценено кем-то. Но даже если оно будет оценено деньгами, пусть самыми большими, едва ли ты будешь счастлив сполна. Деньги, Гонсало, большие деньги, когда ты чувствуешь себя сказочно богатым, привлекательны, но потом это ужасно скучная вещь, от которой иные сходят с ума».

\* \* \*

Из патио, куда я выходил, устав работать с холстом, я наблюдал ночное небо, представляя его себе небесным холстом.

Я вспоминал о многом, оставаясь наедине с небесным холстом, чаще поэтов, которых я знал и которых, может, увижу только в раю, который еще надо заслужить при жизни на земле, или в аду, если не заслужу рая, ибо иных поэтов вполне можно встретить и там. И думал — вот тебе тема, может, совсем не модная, но вполне достойная, чтоб ее каким-то образом написать на холсте, который рядом

с тобой и всегда ждет тебя. И кто знает, может, в самом деле, тебя спасет еще и небесный холст от всех земных бед или же это всего лишь жалкая иллюзия?

Я знал разных людей, и некоторые из них были куда лучше иных поэтов или художников, даже самых признанных, – тот же старик Доте, с которым я вышел еще юнцом охотиться на лис в предгорьях Осетии. Моя тетушка Валентина, доброты которой хватило бы не на один десяток иных поэтов. Мой школьный учитель, грек, я бы пожелал моим и всем детям на земле иметь таких учителей. И еще немало людей, которых я знал позже и вот теперь в новой для себя стране, среди которых были не только испанцы. И каждого из них я пытался представить на холсте и с горечью сознавал, что никогда мне не удастся это сделать. И дай мне Бог написать хотя бы некоторых из них, ибо жизнь коротка, как сказал мудрец.

Мое увлечение искусством невольно обязывало меня думать о многом: о жизни и смерти, о мире и войне, о богатстве и нищете, любви и ненависти, о вере и безверии, о славе и бесславии, о вечном желании превосходства одного человека или целого народа над другим, о деспотах и святых и о многом другом. И часто спрашивал себя – что же есть спасительное для души человека и где есть нормы и границы дозволенного и запретного. И существует ли на свете какая-либо догма, то или иное учение, или идея, помогающая обрести гармонию в душе. Да и что есть гармония? И вспоминал разговор с одним испанским художником о Дали:

– Он ведь разрушает все представления о гармонии, – настаивал с пылом художник. – Он ставит под сомнение вечные каноны живописи.

– Мне думается, он один из великих реалистов.

– Как?! – Реализм не самой формы, не фотографичной схожести предмета, передача через деформацию формы состояния души современного человека. Ведь она деформирована по разным причинам.

– Но это же уродство, в конце концов. Воспитывает красота. Утвержденные каноны ее еще со времен греческого классицизма.

– А может, пришло время, когда человеку, как никогда, надо видеть свое собственное уродство? Что вовсе не значит, что Дали культивирует это уродство. Поэт сказал, кто выстрелит в прошлое из пистолета, в того будущее выстрелит из пушки, имея в виду не только красоту прошлого, но и уродство, жестокость.

\* \* \*

«Воистину, пути Господни неисповедимы, – говорил я себе, думая о предстоящей выставке в знаменитом «Каса де Артесания». – Ведь там выставались известные художники Испании. Отчего же такой чести удостоен я? Может, в самом деле мои работы чего-то стоят, или меня искушает дьявол, играя моей судьбой?..»

День открытия выставки в «Каса де Артесания» начался с солнечного утра. Это событие уже спозаранку огласил веселым лаем наш пес Бэмби. Он, как выяснилось, лаял с террасы на какую-то свою подружку, обыкновенную дворняжку, которая его напрочь игнорировала, вынюхивая что-то в кустах у забора соседнего дома. На лай вышла из спальни заспанная жена.

– Доброе утро, господин Тициан, – приветствовала она меня вполне солнечной шуткой. – Что там с Бэмби, он, наверное, переполошил всех соседей.

– Как истинный джентльмен, он приветствует свою подружку, – сказал я.

– Твое воспитание, – сказала жена. – На чем ты будешь отвозить картины?

– Я договорился с Карлосом. На его «Лендровере». Он подъедет к двенадцати.

– У тебя все готово?

– Да, не беспокойся. Нет только фрака и бабочки. Не успел купить у Кардена.

– Тебе простят. Ты уже великий. Было бы хорошо, если б ты сбегал в магазин за продуктами и помог мне с обедом для детей. Я не успеваю. В десять ко мне приходит ученик. Надо успеть еще прибратся в доме.

– Ты не уважаешь великих, – сказал я. – У меня в кармане ни гроша. Так что, гони монету.

Понимаю. Вот бери эти песеты и постарайся уложиться так, чтоб хватило на картошку, капусту, свеклу, морковь, лук, чеснок, укроп, майонез и на килограмм телятины. Будем готовить борщ. Бери грудинку. Не забудь взять хлеба. Да, еще соли.

– Бегу, – сказал я. – Великий должен все успеть.

– И не забудь корм для кошек и собаки! – крикнула мне уже вслед жена. – Слышишь, великий?..

– Не думаю, что хватит. Ну, если только потрачу из тех денег, что для открытия выставки, на всякие там аперетивы с вином.

– Выкрой!

Мы чудом уложились во времени. В двенадцать ноль-ноль наш друг Карлос отдал мне под козырек у порога нашей квартиры. Как всегда, он был настроен шутливо.

– Ваш покорный слуга, маэстро, – сказал он, просяив лучезарной улыбкой греческого бога. Он был

высок, строен и златокудр. – Сколько кубометров картин у вас скопилось?

– На растопку хватит, мой генерал, – подыграл я ему. – Но Пиренеям, слава Богу, не грозит новый ледниковый период,

– Даже русская зима. Но, может, только нашествие ваших предков алан?

– Это было не нашествие, а спасение латинского мира и всей Европы от сеньора Атиллы, сколько раз я вам это говорил, мой генерал.

– Но поскольку вы пожаловали на Пиренеи с мирными целями, то я готов сию же минуту перекинуть ваши кубометры в мой фургон. Времени у нас мало, маэстро. Открытие ведь в шесть вечера. А успеть надо многое.

– Вы, как всегда, правы, мой генерал. Приступаем. Надеюсь, после погрузки моих дров вы отобедаете с нами. Будет русский борщ с испанским акцентом и русская водка без всякого акцента. Натуральная.

– Это что-то новое. Но в любом случае я на все согласен, кроме водки.

– Русский борщ из испанских овощей, приправ и телятины. Кулинарная солидарность. Это уже кое-что. Ну, а водка в самом деле московского розлива.

– Я ведь за рулем, маэстро, не могу себе позволить, буду вести самый ценный груз в моей жизни, если учесть еще и вас.

Карлос отобедал с нами и был очень доволен всем, если б одна из наших кошек не подвернулась ему под ногу, когда он выносил очередную картину. Она взвизгнула, и Карлос от неожиданности выронил картину на пол. Не успел он поднять ее, как на него рывкнул Бэмби. В это время ученик жены уже заполнил всю квартиру гаммами на фортепиано.

Знакомый, так сказать, концерт для фортепиано с оркестром.

— Такое не для моего желудка, — стараясь покрепче держать картину, сказал Карлос. — Это слишком.

— Мой это давно переварил, — сказал я. — Хорошо, дети ушли после обеда. Вот это бы была оратория.

Снаружи здание «Каса де Артесания» походило на приземлившийся купол церкви, выложенный из кирпича, и я невольно подумал: «Где-то остался обезглавленный храм...»

В целом я был доволен экспозицией, благодарен моему «генералу» Карлосу, который помог мне еще и развесить работы.

— Маэстро простит, если я не буду на открытии его выставки? — спросил он, одаривая меня своей лучезарной улыбкой. — Семья ждет, жена, дети, ты же знаешь.

— Считаю, что я отпустил тебе твои грехи, — сказал я. — Спасибо, Карлос, буду стараться быть достойным дружбы с тобой.

Мы распрощались. Я ходил по залу, разглядывая свои работы, и мне почему-то казалось, что они казнят меня, — кроме щемящей боли на душе они у меня ничего не вызывали. Я невольно сравнивал их с работами тех, настоящих художников и казнил себя наперед горькими мыслями: едва ли кто купит мои работы на этой выставке.

Я вспомнил свою поездку в древнюю столицу Испании, — мне хотелось увидеть дом, где жил и творил великий Эль Греко, и только потом неспешно пройти по тем же узким улочкам с каменными мостовыми, где ступала его нога и где он видел ту же церквушку, вблизи от центральной площади, и

слышал ту же речь и видел то же небо над пологими, выжженными солнцем холмами, все то, что он воплотил на известном холсте — «Вид Толедо».

Был воскресный день. Время приближалось к полудню. Город жил своей жизнью, — кто-то вывесил на террасе сушить белье, кто-то с окна дома о чем-то живо переговаривался с соседом, и я слышал: «Эй, Педро! Моя Аурорита опять родила дочь, назвали Челитой. Вечером приходи в бар к Маноло, я приглашаю, отметим это дело». — «Еще как приду», — отвечал Педро с тротуара. Какой-то турист, обвешанный фотоаппаратами, тем временем торгуется с продавщицей сувениров — немолодой, но крикливой женщиной, почему-то в черном одеянии, что никак не вязалось с ее крикливостью и на редкость солнечным днем. «Ну тогда, сеньор, берите толедский нож. Не устраивает? Ну, хорошо, берите толедский веер, смотрите, какой выбор, ваша сеньора будет довольна, — убеждала продавщица туриста. — Ах, в вашей стране не нужен веер. Ну хорошо, возьмите вот этот каталог нашего Эль Греко и получите в подарок от меня брелок для ключей с видом Толедо. Ах, вам и этого не надо? Так что ж вам надо, сеньор?»

Турист отходит в сторонку и начинает щелкать с разных точек продавщицу сувениров, каждый раз, довольный, приговаривая: «Гуд... Бери гуд... Сэнкью...» Турист, большой, сытый, добродушный, похож на мула. «Сэнкью, — выпячивает он палец в сторону продавщицы, выражая этим свой восторг и благодарность. — Вери гуд, эксотик...» На прощанье все же подходит к прилавку и берет цепочку с какой-то маской.

К тому времени, когда я выхожу к дому-музею Эль Греко, солнце раскаляется, и недавняя еще про-



хлада превращается в пекло. Обыкновенный дом, выложенный из горных плит, с тяжелыми дубовыми воротами под аркой. Я звякаю ручкой калитки ворот. Она на запоре. Выясняется, что музей закрыт. По каким причинам, спросить не у кого.

«Паломник, ты теперь у храма одного из великих богов живописи, – говорил я себе. – Прикоснись рукой к его стенам, в них еще жив дух великого Эль Греко. Кто знает, может, он даст тебе сил и вдохновения на всю оставшуюся жизнь».

Я останавливался у каждой из своих работ и невольно думал: «Вот сказал же тебе один твой доброжелатель – оставь ерундой заниматься, здесь и без тебя полно художников, да еще каких, на кой это тебе? Ты вполне сошел бы за швейцара у входа в пятизвездочный отель, с твоей импозантной внешностью, благородными сединами, вполне сошел бы. Я тебя не понимаю, старик, на кой тебе быть художником, тебе выживать надо в этой стране». – «Да, может, ты и прав, мой друг-советчик. Вот испанец Гонсало, гениальный художник, но нищий. Ни семьи, ни детей. Что его ждет? Он пишет свои картины в конуре под чердаком у кого-то из своих друзей. Неужели уродство нищеты только может породить истинную красоту?»

Словом, было о чем поразмышлять, но меня отвлек мой приятель, виолончелист Ашот, веселый неунывающий армянин.

– Ты не хотел, а я все равно пришел, – сказал он, обняв меня и поздравив с выставкой. – Вот прихватил свою балалайку. На машине друга припер, ее ведь не просто дотащить. Пригласил всех своих друзей на твою выставку. Придет один богатый испанец, точно купит у тебя картину. Я ему сказал, что ты очень хороший художник. Что сыграть на открытии?

– На твой вкус.

– Ну, ты же лучше знаешь, какая музыка подойдет.

– «Танец с саблями» Хачатуряна, – решил я пошутить.

– Какие сабли еще. У тебя ничего веселого нет в картинах. Никто у тебя не танцует, все сидят грустные. Почему у тебя на картинах мужчина держит в руках цветы, а женщина рюмку с вином? Наоборот должно быть.

– Не могу объяснить, – сказал я. – Это сложно, Ашот. Сыграй Комитаса.

– Вай, что ты говоришь. Это совсем будет грустно. Слезы у всех пойдут. Плакать будут.

– Иногда не вредно поплакать. Говорят, слезы очищают.

– Я это знаю. Но это слишком. Может, сыграть «Аранхуэс» Хоакина Родриго. Не так грустно, и сами испанцы будут довольны.

– Ты музыкант, – сказал я. – Тебе видней.

– Хорошо, тогда «Аранхуэс». Ну, а когда люди выпьют немного вина, можно и «Танец с саблями» сыграть.

Время открытия выставки подошло. Вскоре я уже был в окружении своего семейства вместе с нашими испанскими друзьями и добрыми знакомыми. Посетителей пришло больше, чем я ожидал, большинство незнакомых людей. Особенно меня порадовало то, что на выставку, несмотря на свой возраст и недомогание, пришла сеньора Пруденсия со своими сыновьями. Невольно вспомнились наши первые дни на испанской земле! Нам тогда удалось снять дешевенькую квартирку в деревушке Альдео де Фресно, что в полсотне километров к югу от Мадрида. Наши сбережения таяли на глазах, – тогда

пришлось продать сережки и золотую цепочку жены. И мы уже хотели продать даже наши обручальные кольца, но именно в тот день нам и посчастливилось познакомиться с сеньорой Пруденсией и ее семьей. Она и выручила нас не только деньгами на какое-то время, но, главное, поддержала морально. И моя жена сказала тогда: «Донья Пруденсия наш ангел-хранитель». Не думаю, что жена сильно преувеличивала, — сеньора Пруденсия и ее семья продолжали помогать нам, пока мы сами как-то не стали на ноги.

Я обнял ее, поцеловал и сказал:

— Сеньора Пруденсия, моя жена считает вас нашим ангелом-хранителем. Мы будем помнить ваше доброе отношение.

— Спасибо. Но вы преувеличиваете. Я не ангел. И я не знала, что вы художник. Почему вы от меня это скрыли?

— Я тогда еще не знал, что я художник.

— Вы шутите?

— Не смею так шутить с вами. За то время, как мы не виделись, я стал художником. Постоянной работы не находилось. Чем-то надо было себя занять.

— Как же вам это удалось? Я рада за вас. Вы скоро станете знаменитым, и тогда я тоже буду гордиться. И мои дети. Они очень любят вашу семью.

— Я знаю. Спасибо, сеньора Пруденсия.

— А ваши дети по-прежнему рисуют? Мне нравились их рисунки. Помните выставку их рисунков в церкви?

— Как не помнить. Это нас очень выручило. Их рисунки купили многие, и мы какое-то время продержались, пока жена не нашла работу. Но дети перестали рисовать. Жена хочет, чтобы они учились

музыке. Но будут ли счастливы дети, став музыкантами? Кто знает...

\* \* \*

Выставка в «Каса де Артесания» кончилась для меня успешно. Это подтвердил и мой друг художник Гонсало.

– Две картины купили, неплохо, – сказал он. – Когда мне такое удастся, я бываю счастлив. Я прихожу к своему лавочнику и говорю: «Альфонсо, я у тебя покупаю десять холстов и две кисти. Теперь у меня есть деньги, и я хочу погасить все свои долги. Иначе меня замучает совесть». Но он никак не желает, чтобы я погашал долги. И что мне делать?

– Искусство требует жертв.

– Возьми и напиши пьесу. Тема достойная.

– Я уже начал, – сказал я. – Надо только вжиться в образ главного персонажа. Придется и мне начать навещать лавочку твоего Альфонсо. Назовем это культурным обменом. Солидарностью культур.

Я, конечно, шутил, но вообще-то позже, когда у меня не оставалось денег на холсты, краски или кисти, а спрашивать, скорее выклянчивать у жены, когда каждая копейка на счету, я не мог себе позволить, – меня в самом деле не раз подмывало заглянуть к славному лавочнику Альфонсо...

К тому времени, когда я уже становился для многих почему-то признанным, но все еще нищим художником, мы переехали с нашего городка в соседний – знаменитый Эскуриал. Городок этот можно было бы вполне назвать музеем, где сохранились строения еще со времен владычества короля Филиппа II, оставившего в память о себе знаменитый монастырь Сан-Лоренцо де Эскуриал. С равнинного места это монументальное величественное строение,

готовое вместить в себя не один десяток тысяч своих сограждан и послужить не только Божьим храмом, но в случае очередного нашествия завоевателей и неприступной крепостью, покоясь на высоких холмах скалистых предгорий, кажется вознесенным к небесам чудом. Монастырь этот и в самом деле можно назвать чудом архитектуры, если учесть и то, что он был сооружен в шестнадцатом веке. В сознании никак не укладывается, как могли соорудить в то время из горного камня такое величественное строение, какими средствами и силами могли вознести на такую высоту купол храма и каким образом гениальный зодчий сумел найти такую точную соразмерность и гармонию. И уж совсем человек бывает покорен, войдя внутрь монастыря, — величественными сводами мраморных колонн, ювелирно обработанной текстурой камня, монументальными росписями мастеров на библейские сюжеты. Здесь на белом мраморе воплощен образ распятого Иисуса Христа рукой великого Бенвенутто Челлини. Присутствуя на воскресной службе, проходящей в сопровождении хора мальчиков, чувствуешь себя смиренным монахом. Но мой приятель, художник Марсело, при первом моем посещении монастыря посоветовал мне сначала навесить усыпальницу династии Бурбонов. А по ходу в подлиннике увидеть работы великих мастеров эпохи Возрождения, среди которых — Веронезе, Тициане, Эль Греко. Сложно передать чувства, которые я испытал, войдя впервые в этот божественный храм. Но нельзя не сказать о том, что только верующий человек, божественный дух его мог сотворить подобное.

— Не желаешь почувствовать себя на миг великим испанским монархом? — спросил меня, найдя-

шегося под большим впечатлением от увиденного, Марсело. – Для этого надо немножко подняться в гору от монастыря.

По живописной горной дороге мы поднялись на скальное возвышение, где осторожно можно заглянуть в пропасть и откуда хорошо виден монастырь и сам городок Сан-Лоренцо де Эскуриал.

– Сейчас ты будешь коронован, – сказал мне Марсело, сам походя на короля со своей бородкой и резко очерченным профилем завоевателя времен Конкисты. – Правда, без подходящего церемониала. Оглянись назад и все поймешь.

Я оглянулся, но ничего не понял. Обнаружил только за спиной на маленьком пятачке выше от нас сиденье из камня.

– Это и есть трон, – сказал Марсело. – Отсюда Филипп второй наблюдал за строительством монастыря. Здесь он думал о большем величии Испании, хоть она уже тогда была империей.

Мы ступили к трону, и Марсело сказал:

– Теперь садись сюда, и я сделаю пару снимков. Вполне сойдешь за короля со своей бородкой, только постарайся быть царственной, приосанься.

Марсело отщелкал несколько снимков. Коронация состоялась.

– Теперь ты всемогущ. Все у твоих ног.

– Только жаль, что король голый, – сказал я.

Я был очень благодарен испанской подруге жены, которая помогла нам снять жилье подешевле в Эскуриале. Теперь не надо было каждый раз отвозить детей сюда на учебу. Кроме того, что транспортные расходы для нас были велики – электричка, затем автобус, – уходило еще пару часов на дорогу. Да и условия были куда лучше – квартира из трех комнат, салона и вдобавок просторная мансарда,

заменявшая подсобку и служившая мне мастерской. Бэмби по причине его необыкновенной прожорливости пришлось отдать соседям. Нам было жаль расставаться с ним, но что поделаешь, по одежке, как говорится, протягивай ножки. Кошки оставались с нами, несмотря на все мое желание оставить лишь одну, — их общество также заметно сокращало наш семейный бюджет. Но младшая дочь так запротестовала, что мы готовы были к четырем кошкам прибавить еще столько же. Она так и сказала: тогда и я уйду с ними из дома. В чем мы не сомневались, зная ее характер.

Наши испанские друзья продолжали навещать нас, особенно по праздникам, принося детям подарки и что-нибудь вкусное, но чаще книги. Мы постепенно обвыкались в новом городке. Я продолжал «рвать холст», по выражению одного из моих знакомых, который никак не мог понять, как можно работать по десять и более часов в день.

— Ту варваро, — каждый раз сокрушался он. — Я не могу так. Во мне нет столько огня.

«Припрет, мой милый друг, не так еще будешь «гореть», — думал я, но вслух только шутил: — Мой огонь только разгорается!

Шутки шутками, но огонек моей души не раз выручал меня в жизненных испытаниях. Но и подводил, бывало...

...День был осенний. С приходом известной оттепели в людях как-то вдруг проснулись долго дремавшие эмоции, словом, все рвалось к свободе. Я шел по обычному своему маршруту, который до сладостного знаком всем чего-то стоящим уличным казановам столицы великой страны — по улице Горького.

Легкая прохлада наступающего вечера приятно обдувала меня и снимала с оголенных деревьев пос-

ледный жухлый лист. Все чаще вспыхивали яркие огоньки большого города – в столовых, кафе, закусочных, ресторанах, в окнах домов и мало ли еще где. Душа радовалась, чутье подсказывало: будет, будет приключение. И вот она, красотка, белый модный плащ «а ля Джеймс Бонд» кажется блее оттого, что из-под него резво мелькают черные унтер-офицерские сапоги выше колен. Легко угадывается все то, что еще выше, бравое, статное и вместе с тем необыкновенно женственное. Ну, прямо Жанна д'Арк, – гордо вскинутая голова и порхающий крыльями шарф за спиной и с ним волосы – обжигающие смолью над высоким белым лбом до аристократизма утонченного лица с таинственной улыбкой не совсем доброй колдуньи. Она зашла в кабину телефона-автомата. Я беспечно поджидал, пока она выйдет, изображая на лице абсолютное безразличие к ней, – не самый, конечно, лучший трюк для знакомства со стоящей и проницательной женщиной. Она продолжала говорить, а я, поймав ее взгляд, демонстративно развел руками, изображая не то чтобы недовольство, а просто занятость делового человека. Улыбка оставалась прежней на ее лице, но взгляд все чаще скользил по моей персоне. Наконец она прощально покивала головой, и я понял, – надо готовить сачок, чтобы бабочка не упорхнула, а села на еще не увядший цветок. Наконец она вышла.

– Простите, мадмуазель, – не выходя из образа, сказал я. – Я потерял из-за вас не только время, но, возможно, всю свою судьбу.

– Не думаю, – сказала она совершенно безразличным тоном. – Вы еще молоды, и у вас впереди светлое будущее.

– Я бы хотел заглянуть в него с вами. В кафе «Охотник», видите, напротив? Там подают медве-



жьи уши, запеченные в сметане. Оленину. Волчатины пока нет.

– Охотно, – сказала она, и через несколько минут мы уже сидели за уютным столиком у окна и говорили обо всем том, о чем положено говорить в таких случаях. А в паузах я говорил себе: «Колдунья достойная, но на кой хрен ты назвал этот «Охотник», где только за одно блюдо тебе придется расплачиваться всем гонораром, который ты ждал месяц». Но стол уже был заставлен всем тем, что я наобещал. Я переживал и каждый раз, проглатывая медвежье ухо, зримо представлял, как вместе с ним во чрево мое уходит весомая часть гонорара. Тем не менее как-то поддерживал разговор, ибо колдунья была на редкость обольстительной и, глядя на нее, я невольно представлял такие композиции, от которых может отказаться разве что дурак или святой.

– Я довольна, – сказала она под конец вечера, глянув на часы. – Но мне пора, у меня важное дело.

– Но и у меня было судьбоносное, – сказал я. – Как же теперь, неужели ты покинешь меня навечно?

– Позвони мне завтра, – сказала она, протягивая мне визитку с телефоном и адресом. – Ближе к вечеру.

Ее звали Рита... Рита... Маргарита...

Вечером следующего дня я был у нее. В гостиной меня уже ждал накрытый стол, – вчерашний в «Охотнике» выглядел нищим в сравнении с ним, – салаты на любой вкус, рыбное, мясное, отварное, запеченное и жареное и еще много всяких деликатесов, иные из которых мне казались диковинными. Над всем этим разнообразием возвышались напитки на выбор – разной крепости, сортов и видов, заморские в том числе.

– Мой визит не стоил стольких трудов, – сказал я, приступая к еде. – Я пока еще не генеральный секретарь.

– Кто знает, – сказала она. – Может, станешь. А трудов никаких. Все подано с ресторана. Здесь в двух шагах ресторан «София», не самый худший.

– Ты случайно не директор его?

– Я директор над ним. Но это не важно, давай еще выпьем, все той же водочки.

Мы чокнулись и под малиновый звон хрустала выпили до дна.

– Теперь поцелуй меня, – сказала она. – И пригласи на танец. Тебе ведь нравится это танго. Это танго моей юности.

Я поцеловал ее, и мы стали танцевать. И вскоре оказались там, где обычно положено оказываться в таких случаях. Подобных чудес, которые продемонстрировала она, я не знал, не видел и никогда не предполагал при всем моем богатом воображении. Она в самом деле была колдунья. А я заколдованным. Но колдовство неожиданно прервал телефонный звонок.

– Да, милый, – говорила она спокойно в трубку, свободной рукой продолжая ласкать меня, совершенно не смущаясь обнаженности. – Ну, на кой тебе была нужна эта картошка? Ты уже там неделю, промок, озяб под дождем, голос у тебя простуженный. Как бы ты не заболел, я тут без тебя исстрадалась вся. Жду еще день, только один день, не оставишь эту картошку, сама приеду. Обещаю тебе. Я же не железная. Ну, хорошо, хорошо, целую, обнимаю, люблю, но лучше бы это не по телефону. Жду.

У меня все упало. Несложно было догадаться, что это был ее муж. Но почему он на картошке, этом ежегодном общественном мероприятии жите-

лей столицы, которое было явно не для того условия, которое, судя по всему, представляла эта парочка. Но я не стал спрашивать об этом. Вернулся к столу, поел, выпил и сказал:

– Ты очаровательна.

– Мой муж тоже так думает, – сказала она. – Но он, как ты понял, на картошке. Так что не беспокойся.

Вскоре нас снова оторвал от колдовства звонок, но уже не телефонный, а, к нашему удивлению, в дверь. Причем настойчивый.

«Разведка не дремлет, – подсказала мне интуиция, и я стал натягивать штаны. – У таких персон все начеку».

– Быстрей, – сказала она, успев кинуть мне с вешалки мою куртку. – Бери все свои вещи и на балкон. А я его отвлеку.

На балконе задувал холодный ветер с дождем. Я озяб и пытался сдержать дробь зубов. Вскоре я ненароком подглядел с балкона то, чем я только что сам был занят. Супруг ее был оскорбительно-невзрачен для женщины с такой внешностью. Это был плешивый гном, на вид вдвое старше ее. Он все время поправлял очки, жадно разглядывая свою обнаженную маху. И явно смущаясь своей внешности, – дряхлое сморщенное тело, которое едва удерживали кривоватые ножки, сплетенные из жил, которые, казалось, вот-вот лопнут. «Может, это Эсмеральда и Квазимодо? – вконец продрогший, все же подумал я. Пусть так, но мне-то что делать? Торчать здесь всю ночь? Мокнуть под дождем? Мерзнуть? Но так можно и околеть. Ведь он может оставаться дома и утро, и день. И может выйти на балкон. Что тогда?!»

И тут мой взгляд упал на соседний балкон. Я мигом перемахнул туда. Дверь в квартиру была

приоткрыта. Затаив дыхание, я зашел на цыпочках в темную комнату, прошел в прихожую и открыл дверь на лестничную площадку...

На следующий день утром я позвонил ей.

– Я думала, ты от страха выбросился с балкона, – сказала она. – Но потом сообразила, что ты ушел через соседей. Мой снова уехал на картошку. Приходи вечером. Я жду тебя. Стол будет накрыт.

«Ну нет. С меня хватит. Пусть кто-то другой, отведав твоих деликатесов, мерзнет потом на балконе», – подумал я. Больше я к ней, разумеется, не пошел, да и женщины меня с тех пор стали привлекать посерьезней, что ли.

Как-то я засиделся у холста. Кто-то из детей, вернувшись после занятий в школе, сообщил мне с удивлением и даже восторгом:

– Папа, в доме культуры Сан-Лоренцо выставка очень интересного художника. Ты знаешь, его картины похожи на твои. Ну прямо не отличить. Иди посмотри, у него тоже одни женщины на картинах.

Это было любопытно. Неужели есть еще один такой поклонник печальных женщин? В Сан-Лоренцо часто выставлялись художники, причем не только испанцы, вполне можно сказать, со всех стран и континентов. Однажды на своей выставке я познакомился даже с одним японцем, которого поначалу принял за местного бомжа-филиппинца, уж никак не представляя себе в этом качестве представителя страны восходящего солнца. Он зашел в зал, маленький, тщедушный, но явно гуттаперчевый, и несложно было представить, как он с визгом взлетает к потолку, демонстрируя высшее мастерство в каратэ. Он как бы кланялся перед каждой из моих работ, будто перед поединком с ними. Наконец, раскланявшись со всеми, приблизился ко мне. Склон-

ный к общению с кем придется в силу своей прошлой профессии и вообще по природе, я не стал выжидать паузу. Мне интересно было знать мнение небритого бомжа с красным лицом, будто после вчерашнего перепоя, о моей живописи. В неряшливой одежонке из куцой курточки, коротких штанишек и кроссовках на босу ногу, в бейсбольной кепке, он был смешной, совсем комичный, когда при разговоре его черные до смолы усики дергались над пухлыми, как у ребенка, губами. Диалог был, разумеется, на испанском, которым он владел, похоже, чуть лучше меня.

– Нравится? – спросил я.

– Да, – охотно кивнул он.

– Что больше? – спросил я.

– Все, – сказал он.

– Все одинаково?

– Нет.

– Так что больше?

– Женщина, – сказал он.

– Какая?

– Голая.

– Вы любите русских женщин?

– Я люблю всех женщин. Но ваша голая мне очень нравится.

– Вы что, художник?

– Да, – сказал он.

Он заинтриговал меня. Даже однозначностью ответов, если учесть, что художникам это совсем не свойственно. Я невольно подумал: «Вот еще один нищий бедолага, филиппинец, ищет для себя спасения от безработицы и прочих бед».

– Выставлялись?

– Да.

– Где?

– Здесь.

- И все?
- В Мадриде тоже.
- А еще где?
- В Токио.

«Это уже кое-что, — подумал я, сообразив, что передо мной японец. — Не хухры мухры».

- А еще где?
- В Париже.
- И все?
- В Нью-Йорке.

«Он, возможно, уже успел и на Марсе выставиться», — невольно подумал я, умерив свою несколько фамильярную интонацию.

- А когда и где можно увидеть ваши работы?
- У меня здесь мастерская. В двух шагах. Можете увидеть сейчас.

Я охотно согласился, и через пару минут был уже в его мастерской. При тусклом освещении электричества она походила на подземный грот. Но вот он на что-то нажал, и грот преобразился в залитые солнечным светом залы. Один, второй, третий... Я попал без преувеличения в музей и в мастерскую художника одновременно. Все здесь строго было подчинено порядку. На белоснежных стенах висели его работы. Они как бы рождались из самих стен, едва отличаясь своей палитрой, все больше едва уловимым налетом голубого, как бы навязывая глазу общую гамму. Потом он мне показывал многое из того, что я просто не мог ни понять, ни вообразить, это нельзя было назвать ни поп-артом, ни концептуализмом. Это было нечто мною, по крайней мере, раньше не виданное. И все же я угадывал в этом утонченном стиле какое-то глубокое драматическое содержание. Конечно, не только личного свойства. Я мало знал о Японии. Ну, может, только то,

что знают все или большинство. О самураях, камикадзе, кое-что о японках, экибане, ну и, конечно, об Акутагаве, Ясунаре Ковобато, Кобо Абе. И еще о Хокусай.

И все, что я знал о Японии, почему-то угадывал в работах моего нового знакомого «бомжа». Наконец, посмотрев все его работы, я осмелился спросить его о ценах.

– Сейчас покупают хуже, – сказал он. – И я понизил цены. Самая высокая пятьдесят тысяч долларов. Средняя где-то тридцать.

«Милый бомж, – подумал я, – мой скромный бомж, продал бы ты для меня одну из своих работ, которых у тебя так много, и я, возможно, решил бы, ну если не все, то почти все свои проблемы, и кто знает, после твоих работ, может, вернул все свои на ту самую мусорку, откуда они начинали свое существование».

Он, конечно, меня сразил. Суперсовременностью своих работ, необыкновенным мастерством, явно возведенным до уровня чародейства и сложно представляемой для меня философии. И я невольно представил его творчество как бы на фоне взлета технической цивилизации его страны. И еще подумал, что у каждого народа свои непостижимые для другого тайны. И еще подумал: «Стало быть, говоря, что тебе нравятся мои работы, милый бомж, ты иронизируешь». И прямо сказал ему об этом.

– Ноу-у-у... – протянул он, уязвленный моими подозрениями. – У тебя очень хорошие работы. Нет плохих работ у талантливых художников.

– Но ведь твои...

– Оу-у-у... – снова протянул он. – Я всю жизнь учился живописи. Занимался в день по пятнадцать часов. Иногда больше, до восхода солнца.

– Это понятно, – сказал я. – Ты ведь из страны восходящего солнца.

– Оу-у-у, – пропел он, загадочно улыбаясь. – Ты то-о-о-же...

В заключение он подарил мне свой каталог, пригласив в соседний бар, где мы пили японское сакэ и рассуждали не только о живописи, но и о литературе.

– Оу-у-у, – растягивал он. – Достоевский гений. Акутагава рядом с ним просто хороший писатель.

Вот такой «бомж».

Да, с «бомжем» все ясно, но кто же этот испанец с бородкой, – думал я по пути на его выставку. – В чем сходство его работ с моими?»

Он сидел за небольшим столиком в глубине зала и читал книгу. Как это обычно водится, я стал разглядывать его работы. Темная охра со вспышками голубого, синего, красного. На этом фоне его женщины, казалось, вмиг воспламенялись и обращались в пепел, который уносил ветер. Линия рисунка была геометричной, чему я не удивился, потому что знал, что по профессии Рафаэль Эскобедо, так звали художника, – архитектор, а живопись – просто его увлечение. Познакомившись со всей экспозицией, я подошел к нему. Он все еще был погружен в чтение.

– Здравствуйте, – сказал я.

– Здравствуйте, – видимо, находясь все еще под впечатлением от прочитанного, он смотрел на меня довольно сумрачно, что, в общем-то, не свойственно испанскому характеру, на редкость общительному и открытому.

– Мне понравились ваши работы, – сказал я. – Только, может, в них преувеличен трагизм.

– Я так чувствую, – коротко ответил он.



– Кто-то из моих детей нашел сходство моей живописи с вашей.

Он сдержанно улыбнулся в пышную смоль бороды и усов и закурив, посмотрел на меня уже другими глазами – большого, доброго и беззащитного ребенка, и, как бы спохватившись, предложил закурить, протягивая пачку «Фортуны». На столике его я заметил каталог немецких экспрессионистов.

– Вам нравится экспрессионизм? – спросил я.

– Да, – сказал он. – Вам тоже?

– Не все. Бэкман, и еще, может, два-три художника.

– Вы пробуете писать в этом стиле?

– Я не знаю, в каком я пишу, – сказал я. – Мне просто нравится писать. Я аутодидакто.

– Неважно, – сказал он, делая глубокую затяжку. – Не имеет значения. Можно увидеть ваши работы? У вас есть каталог?

– Очень скромный. Но если желаете, я могу вас пригласить к себе и показать свои работы. Мне интересно ваше мнение.

– Хотя сейчас, – к моему удивлению, живо отреагировал он. – Я как раз хотел идти обедать. Если желаете составить компанию в соседний бар, буду рад. Потом можно посмотреть ваши работы.

За обедом, узнав, что я пишу прозу, он сказал, что его жена драматург и у нее есть кое-какие связи, чтобы помочь мне издаться. Сказал, что в центре Мадрида у него хорошая квартира и мастерская, и я всегда могу быть его гостем, как и любой другой русский, если только не мафиози. На что я в шутку ответил, что знаю одного вполне достойного русского мафиози, который любит все испанское, включая женщин.

– Кто же это? – спросил он вполне серьезно.

– Перед тобой, – сказал я. – У меня дома ты это сразу поймешь.

Дома, когда он сдержанно похвалил мои работы, я рассказал ему историю моего живописательства и не стал скрывать, что родом оно из местной мусорки.

– Понимаю, – сказал он, хотя в глазах его прочитывалась некоторая растерянность. – Вот почему у вас в доме столько икон. Я заметил их даже в ванной.

– И на кухне есть, – сказал я. – Моя жена очень религиозный человек.

Со временем наше знакомство стало перерождаться в дружбу. Поддерживать ее с ним было не просто, учитывая особенности его характера. Он надолго замыкался в себе, чтобы потом вдруг проявить бурю эмоций, которые так же вмиг угасали, и он опять становился подавленным. Со временем я узнал кое-что о его жизни и не удивлялся этим перепадам настроения. Я узнал, что у него не клеится с женой, что у них нет детей. Что она часто уходит от него. И что он ее очень любит, но хочет с ней разойтись. Сложно было понять их отношения, да я и не желал разбираться, помня известное изречение: чужая семья – потемки. К чему же быть судьей в этих потемках, в своих бы разобраться. Возможно, не последнюю роль в их отношениях сыграло то, что он долгое время не мог избавиться от наркомании. Возможно, причиной тому был его сложный характер. Что угодно, только не материальное положение. Четырехэтажный дом в центре Мадрида, где он занимал квартиру, был его собственностью, и он сдавал его жильцам. Кроме того, он имел две загородные дачи, одна из которых располагалась на морском побережье.

Как-то мне удалось продать одной галерее в Мадриде несколько своих работ по ценам дешевле не придумаешь, что тем не менее для меня в то время было большой удачей. Я был окрылен и не шел, а парил над землей, обращая на себя внимание прохожих, которые наверняка думали, что дяденька влюбился на старости лет или, что хуже, у него потекла крыша. А я был безмерно рад, что, наконец, отдам все свои долги, а на оставшуюся сумму накуплю разного вкусного для семейства. Мелькнула мысль позвонить Рафаэлю. «Ты перед ним в неадекватном долгу, – говорил я себе, – вспомни, сколько раз обедал с ним в баре, ужинал у него дома. Да и вообще он славный малый, только странноватый слегка. Пригласи-ка его в знак особого уважения просто отобедать в хорошем ресторане».

– Ты где? – спросил он, улыбаясь в трубку.

– На Пласа де Колон. У водопада.

Через четверть часа он уже сиял улыбкой в смоль усов и бороды.

– Идем, – сказал он. – В Хихон.

– Это кто? – спросил я.

– Это кафе, артистическое. Там все гении – художники, писатели, поэты, режиссеры, музыканты и их поклонники. Там пил, говорят, Хемингуэй. Ел Камило Хосе Села. Пел мой тезка Рафаэль.

– Символично, – сказал я. – Годится. Но только на этот раз за мой счет. Я сегодня сказочно разбогател.

Кафе действительно оказалось старинное. Даже швейцар был особенный, какой-то декоративный.

Вот публика, в самом деле, своя в доску – ну, ЦДЛ или тот же домжур. Правда, пьяных меньше. И никто не кричит, не доказывает с истерикой, что он непризнанный гений. Бутылки о стены не разби-

вает в знак доказательства. Все сидят, пьют, что-то едят, говорят, но больше курят. Обстановка, что называется, располагающая, позитивная энергия так и струится от пола до потолка и обратно. Мы уютно устраиваемся за столиком у окошка с видом на то же самое Реколетос. Вид – Хемингуэй позавидует, что там кафе в его «Празднике...» Одни типажи проходят мимо окна. Другие сидят на бульваре, под сенью эвкалиптов и пальм. За соседним столиком яркая девица строит своему явному опекуну, дону лет эдак под сами понимаете сколько, глазки. Он кивает ей плешивой головой, бережно удерживая рукой под столом свое уютное брюшко, обтянутое шелком сорочки, возможно, от Кардена или Верса-чи. Другую его руку, холеную, белую с перстнем с хорошим камушком, девица накрыла своей. Не забывает стрельнуть глазками в нашу сторону. На всякий случай, как потенциальным опекунам. Но вскоре, по каким-то только ей ведомым признакам поняв, что ловить нечего, напрочь забывает о нас.

Едим. Пьем. Рафаэль минеральную и ничего больше. Ему нельзя. Строго запрещено медициной. Я – вино. Для водки день жарковат. Курим. И не такой уж он бука, Рафаэль, шутит, улыбается, несмотря на все тяготы семейной и творческой жизни. Оттого и я этот стиль выбираю в компании с ним, хотя все те же кошки скребут на душе и в подкорке тоже – как теперь с женой, с детьми... С долгами-то рас-плачусь, а дальше... Всю жизнь снимать квартиру – это же деньги в трубу вылетают. От той-то проданной, родной квартиры, вымученной двумя поко-лениями, теперь ни шиша не осталось. Деньги не вложили ни во что. Была идея бар завести, но ка-кой же из меня бармен-счетовод? Да и с жены тоже. Здесь талант другого свойства нужен, а это тоже не

всем дарят небеса. Жаль, что не купили хотя бы малюсенькую квартирку. Сдавали бы ее сейчас, и это уже что-то на безрыбье. Ладно, пей, ешь, веселись, бродяга, вспоминай ту Риту с муженьком на картошке, других, говори с Рафаэлем о светлом будущем. Может, в Штаты махнуть? Там переизбыток свободы, русскоязычных изданий навалом, – своя братва, русские, евреи, кто-то сказал, что даже чукча есть из-под родного Магадана. Что-то о фольклоре издал, из истории своего народа. Прославился. Разбогател. Теперь приглашен в Голливуд сниматься. А ты кто – не русский, не еврей, не чукча и даже не алан. Так, планетарный человек, землянин. Эх, горы родимые! Сияете ли солнечно или плачете безумно? И кто нынче покоряет ваши вершины? Ну выпей еще бокальчик непревзойденной риохи, может, еще повеселей мысли в голову придут.

Еще и еще. И-таки подмигнул красотке, встретив ее взгляд. В ответ лед, в котором несложно угадать: «Что это еще за чучело? Свое-то хоть чего-то стоит».

– Пришел, – сообщил вдруг Рафаэль.

– Кто? – спросил я.

– Издатель. Дон Иполито Санчес Родригес. Идем, познакомлю с ним. Он все может.

Я иду твердой походкой. Держу державное достоинство. Что мне там риоха! Всего-то бутылку опрокинул. Готов еще на парочку. Подходим. Рафаэль представляет меня.

– Русо?! – вспыхивает издатель бутоном розы, сияющей первой утренней росой. – Эскритор! Гийониста! Периодиста! Пинтор!

– И куйдадор! – добавляю я, восклицая громче, чем он. – И мучо отро косас эрмосас.

– Рафаэль мне говорил о вас. Сентаде, сентаде! –

торопится он пригласить к заранее заказанному для него столу. – Порфавор, сеньорес.

Вскоре стол обрастает съестным и питьевым. Я не спеша рассказываю о себе. Ненавязчиво, с достоинством. Будто для меня издаться – пустяк, стоит только подмигнуть, и слетятся все издатели мира за моей рукописью. Он вполне располагал к тому, чтобы рассказать о своих проблемах в области возвышенного и вечного. Интеллигентная внешность, приятные манеры, открытость и искреннее радушие. Свой человек в Мадриде. В Гаване такого, может, и не встретишь.

– На каком пишете, – английском, испанском? – как бы между делом спрашивает меня дон Родригес.

– Я уже русский забываю, – сказал я. – На английском из русских писал только Набоков. Учился он в Кембридже. Большую часть жизни прожил в Европе и в Америке и потом снова в Европе у Женевского озера, где и похоронен со всеми подобающими почестями, если учесть еще и то, что он был из богатейшего рода в России. А я, так сказать... Но лучше не говорить. Да, слышал еще об одном гении, но уже из советского обедневшего рода. Одной рукой он, говорят, гениально играет Рахманинова и Моцарта, другой в это же время пишет на русском, английском и других языках гениальные романы.

– Ах, эти русские, сплошные вундеркинды. Революция. Гагарин, Брежнев и еще тот, что до него...

– Хрущев?

– Нет, до...

– Понимаю, но вслух не скажу...

– О чем вы пишете?

– О любви.

– Гомосексуальной?

- Не практикую.
- О русской мафии?
- Пока тоже не имею практики.

Рафаэль утрюмо молчал. Потом тихо сказал:

– Иполито, ты хороший парень, но еще не понял литературу.

Дон Иполито Санчес Родригес меня больше развлек, чем озадачил.

День клонился к вечеру. Жара спала. Мы шли по бульварам Реколетос в направлении Пласа де Колон.

– Здесь рядом галерея, – как бы спохватился Рафаэль после долгого молчания. – Пойдем, я тебя представлю хозяйке. Думаю, ей понравятся твои работы, и она тебя выставит.

Хозяйка галереи оказалась на редкость приветливой и радушной. Пригласила нас в соседний бар. Галерея оказалась престижной, если учесть вполне именитых художников, выставявшихся в ней. Об этом говорили и цены на картины – куда моим жалким!

Мы с хозяйкой, ее звали Матильда, пили пиво. Рафаэль, как всегда, минеральную и больше курил, чем говорил.

– Я понимаю, – сказала она, выслушав мою краткую историю. – Многодетный, безработный. В отличие от других художников вы можете расплатиться за прокат зала своими работами. Правда, на мой вкус, я заранее предупреждаю. У меня ведь тоже немалые расходы. Галерею я снимаю, расходы за электричество, отопление. Налоги. За рекламу и пригласительные билеты плачу я. Это немалые деньги. Я сразу обо всем предупреждаю, чтобы не было недоразумений. Согласны на такой вариант?

– Невозможно отказать. Но ведь надо, чтобы вам еще понравились мои работы.

– Я доверяю вкусу Рафаэля. А показать фотографии своих работ или каталог можете в любой удобный для вас день. Только предварительно позвоните. Рафа, спасибо тебе за знакомство с художником. Я бегу в галерею, может, клиент пришел. Вы меня извините. Все уже уплачено в баре. Адюос.

– Деловая женщина, – сказал я.

– Как и положено хозяйке галереи.

Где-то через пару дней я показал ей каталог.

– Вы ни на кого не похожи, – заключила она. – Я ставлю вас в план. В июне у вас выставка в моей галерее. Ждать осталось два месяца. Готовьтесь. Удачи и вдохновения.

Я нередко ковал до полуночи, а то продолжал и за полночь. «Когда еще все в мире спит и алый блеск едва скользит...». И ты скользишь... Может, по поверхности, надо глубже. Но сколько можно глубже, совсем уж мрачная палитра. Больше алого, румяного, радостного, счастливого, как щеки у того беспечного младенца в руках румяной мамы. Вот тогда есть шанс. Не получается. Кисть уводит в другой, не румяный мир, нашептывая: «Не пудри мозги другим и себе тоже. Пиши, как пишется, а там была не была. И оживает кисть, не остановить, не удержать. Еще мазок, другой... Не гони лошадей, маэстро, это тебе не ипподром, не скачки, это живопись, надо знать, когда притормозить, придержать узду». А мир давно уже спит. И как в той песне – спят усталые ребята, мишки спят и усталые котятга спать хотят. Мои, слава Богу, давно спят. Не мяукают. Бэмби наверняка тоже спит. Береги Бог людей и собак тоже. Вот только где бы раздо-



быть гобой для дочки и кларнет для сына. Погонят ведь из музыкальной школы, уже грозились. Сколько можно брать напрокат инструменты. Пора своими собственными обзаводиться. Но ведь дорого, едрит твою за ногу, гобой средненький в зелененьких четыре тыщонки стоит, где-то так же – кларнет. Такие деньги безработному не снились. А погонят со школы детей – какое будущее ждет моих музыкантов? Молчи, не думай, с ума сойдешь. Только бы не сойти с ума. Достойный рефрен у того поэта. Только бы не сойти с ума и продолжить по намеченной цели. Ах, жена, любящая мама, требовательная супруга. Ах и я, образцовый папаша многодетного семейства, кормилец, так сказать, глава, прямо скажем... Нет. Никакой ты не кормилец и не глава. Ты все еще иждивенец на шее. Ну не ной, не хнычь, не подобает беженцу–эмигранту, не к лицу.

Какие только мысли не посетят, когда уже далеко за полночь и ты у холста. Когда еще все в мире спит... И вдруг звонок, как гром в полуночной тишине. В одной руке кисть – продолжаю писать. В другой мобильник. Кто же это в столь поздний час? Ошибка? Нет. Знакомый голос: «Это я, Матильда...» – «Матильда? – не сразу соображаю я. – Матильда?» Голос встревожен, взволнован: «Никак не могла до тебя дозвониться. У тебя что, мобильник не заряжен? Неприятная новость. Очень неприятная. Умер Рафаэль. Считаю своим долгом сообщить тебе. Похороны завтра. Если можешь, подъезжай к десяти утра на улицу Серрано, где магазин «Валентине», на углу. Я буду вас ждать там с мужем на машине».

Сообщение как оплеуха – звонкая, так что загудело, закружилось в голове, туманом все покрылось.

Не вижу холста. Швыряю кисть на пол. Встаю. Закуриваю. Хожу туда-сюда. Из угла в угол, как помещанный.

«Рафаэль... Умер... Как он мог умереть?.. Почему?.. Разве мог он умереть?.. Он ведь жил, не выживал... Как так?..»

Сна, конечно, не было. Сигарета за сигаретой. Мысли разные, одна на другую наплывают, вытесняют попытку что-то понять. И так до утра. Конечно, сообщу жене, хотя она и не разделяла его воззрений по части религии, веры. Но ведь человек умер. Мой друг. Как он рассердился на издателя, того самого паяца в кафе «Хихон», как хотел помочь. Кто еще так искренне болел за тебя всей душой? Он художник. Он человек...

Приезжаю раньше времени. Воскресный день. На улице еще пустынно. Редкие прохожие. Кто-то вывел прогулять собаку, кто-то просто сидит на лавочке, блаженно закрыв глаза под утренним ласковым солнцем. Кто-то заходит в соседний бар. Я курю. Думаю о разном – состояние прострации. Так уже было не раз, когда провожал в последний путь близких и дорогих мне людей. По небу плывут облака, скользят неспешно. Одно, второе, третье... Чередой. Хоть и утро – вспоминается: «Звезды – это глаза умерших». А облака в небе? В светлом чистом солнечном небе. Сейчас они есть, еще немного, и их не станет. А кто же тот орел в пустыне Каракумы, заставший меня там одиноким пилигримом? В пустыне, где я ждал воскрешения своего предка, который так и не воскреснул и не спросил меня: «Как ты, потомок наш, как живется тебе, достойно ли...» Как рядом соседствуют жизнь и смерть, не различить барьер, границу, которую однажды придется переступить каждому. Смерть

не спрашивает – кто ты. У нее свои законы. Сатурн поедает двоих детей... А дети?... Дети... Цветы на могиле своих родителей... Но такие разные цветы... В руке художника Минаса Аветисяна, на автопортрете его не цветок, а колючка... Музыка Комитаса, она звучала как надежда на твоей выставке в «Каса де Артесания». Вспомни, что ты чувствовал, когда ты услышал мелодию Хоакина Родриго. Ты увидел тогда испанскую мадонну с ребенком в руках, и это вселило и в тебя надежду. И вспомни молитву свою под небом древнего Толедо, когда ты стоял у порога дома великого Эль Грека. Вспомни многих – друзей и врагов тоже. И попробуй научиться прощать их, может, тогда и спасешь дух свой. Ибо из одной плоти все друзья и враги. И не ищи в других врагов – в себе больше. Ибо мир не тот, что ты видишь вокруг, – мир в тебе. И когда ты это поймешь, что мир в тебе, – тогда ты будешь себя чувствовать на свободе даже закованный цепями в темнице. Слезы выступили у меня на глазах.

– Ола, – отрезвил меня голос за спиной. – Комо эстас?

Это была Матильда. Вся в черном, она походила на траурную птицу, выпорхнувшую из машины но держалась достойно. За рулем сидел муж.

– Бедный Рафаэль, – дважды расцеловав меня, сказала Матильда. – Кто бы мог подумать. Так неожиданно. А я хотела его выставить после тебя.

– Может, мне не выставляться? – сказал я.

– Как не выставляться?

– Я думаю, это не совсем этично, сразу после его смерти.

– Как раз очень этично. Он твой друг. Выставиться, это не значит кощунствовать. Ты же не плохое

что-то делаешь. Как раз даже символично, даже подтверждение тому, что художник может, как и любой из нас, умереть, а искусство – нет.

– Что с ним случилось?

– Неизвестно. Врачи пока не определили. Его тело пролежало в доме неделю. Узнали случайно. Но, похоже, от приступа эпилепсии. Может, принял большую дозу наркотиков. Хотя как будто бросил это.

– А где была жена?

– Ее не было. Ее и сейчас нигде не могут найти. На телефонные звонки не отвечает. У них были очень сложные отношения. Частые конфликты. Может, она уехала куда-то надолго, чтобы отдохнуть от семейных ссор. Такое может быть, иначе отчего ее нет. Ну, садись в машину, можем опоздать на похороны.

Кладбище оказалось на отшибе какого-то городишка. Оно было огорожено стеной из плит горного сланца, и вдоль стены прорастала выжженная солнцем трава с колючками. У входа на кладбище уже стояли группами люди. К моему удивлению, они были одеты совсем не траурно. Кто-то о чем-то громко говорил. Кто-то спорил. Кто-то даже улыбался. Впечатление создавалось такое, что люди пришли на праздник, а не на похороны, что было несколько непривычно для меня.

Что ж, каждый народ по-своему проявляет свои чувства к усопшему, – подумалось мне. – Кто-то скорбит, рыдает, царапает на себе лицо, рвет волосы, возможно, в душе при этом оставаясь безразличным к усопшему. А кто-то улыбается, смеется, и, может, это как раз более искреннее проявление чувств, – вот, наконец, отмучился человек на этой грешной земле и теперь воспарит к небесам, в рай.

Это, возможно, свойство более верующих людей, для которых загробная жизнь — реальность. Но в любом случае, как же без скорби... Бедный Рафаэль.

Вскоре подъехала машина — черный катафалк, блестящий на солнце, будто вымытый только что. Водитель и его напарник неспешно вытащили из машины гроб. Едва удерживая его на руках, занесли внутрь кладбища и опустили на подставки у одной из ниш. Матильда поспешно срывала полевые цветы у стены кладбища. Я последовал за ней. К моему удивлению, крышку гроба так и не открыли. Как выяснилось, у испанцев это не положено перед погребением. Священник в черном произнес молитву за упокой. Все сказали «аминь», и шофер с напарником задвинули гроб с телом Рафаэля в одну из ниш. Я успел вслед за Матильдой положить на гроб цветы, сказав: «Прощай, Рафа... Пусть земля тебе будет пухом...» Напарник шофера вскоре замуровал цементным раствором нишу. Матильда подошла к высокому человеку — единственному, кто был в черном, кроме священника. Я узнал в нем старшего брата Рафаэля, в дом которого он пригласил меня как-то на ужин. Я обнял его, выразил соболезнование.

А потом все стали разъезжаться. Я курил в компании мужа Матильды. Она что-то говорила, хотя я не слышал. Я курил и смотрел в небо. Куда-то исчезла черед облаков. И лишь единственное облако медленно таяло, растворялось, и вскоре исчезло в сиянии солнца.

«Может, это облако — душа Рафаэля? — невольно подумалось мне. — Кто знает...» Провожающие давно разъехались. Мы постояли еще немного в скорбном молчании и тоже направились к машине.

\* \* \*

... Я подошел к холсту. Белый квадрат смотрел на меня вызывающе. Как перед поединком. Я взял в руки кисть. Вспомнились слова Гогена: «Перед всеми нами – наковальня и молот, и наше дело ковать». Кисть пошла по холсту. «Полюбите и будете счастливы», – вспомнилось и другое выражение великого художника и изгнанника.



Мой дед





Концерт





Компания



Сельское кладбище





Художник





Сохрани их





Старый рыбак Христиан



Мечтатель





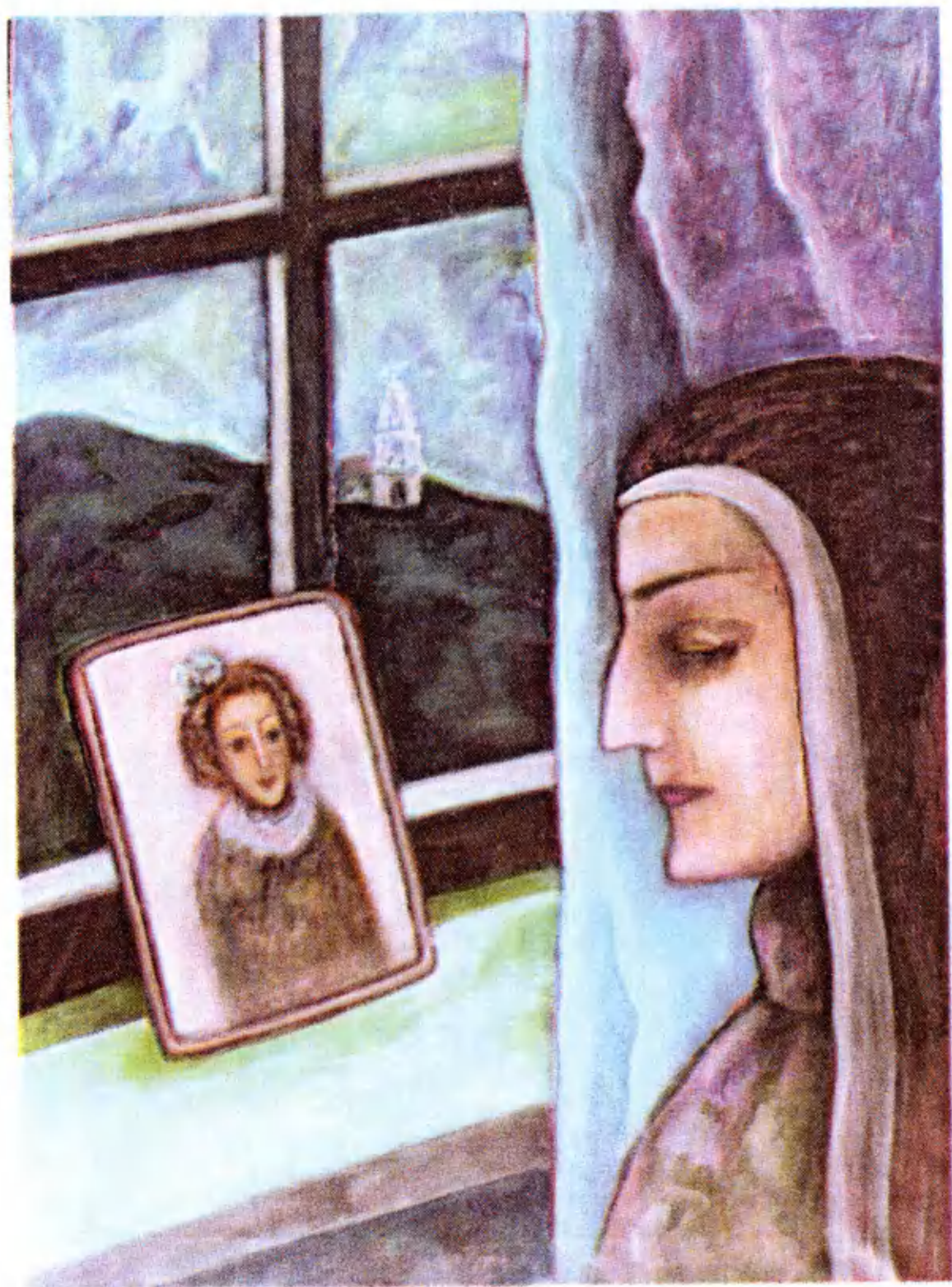
По мотивам Гайто Газданова





На закате





Скорбь





Цветы



Слушая Моцарта





Аланский натюрморт



Патрисия





Языческий бог



Японка Йокко





Лунный натюрморт



Испанская подруга





Андалузский натюрморт



Натюрморт с рогом изобилия





Взгляд



Женщина в сомбреро





**RUSLAN GA**

INAUGURACION

**RUSLAN GALASOV**

EXPONE - OLEOS  
GALERIA DE ARTE  
«K-TÑO FRADE»  
1.998

A BENEFICIO DEL ORFANATO BJELAVE  
DE SARAJEVO (BOSNIA)



**SLAN  
GALASOV**

7 ABRIL AL 12 DE MAYO  
1997



INAUGURACION DIA 10 DE ENERO  
A LAS 8 H. HASTA EL DIA 10 DE FEBRERO, 1998

**HOTEL INDATXU**

Plaza Bombero Etxaniz, s/n • Tfno (94) 421 11 98 • BILBAO

**Руслан Галазов**

## **КОРРИДА НА ХОЛСТЕ**

**Технический редактор Б. Т. Бесаева  
Корректоры А. Ф. Годжиева, Э. В. Чибирова  
Верстка Ф. Ю. Токаева**

Подписано к печати 19.10.05. Формат бумаги 60×90  $\frac{1}{16}$ . Бум. офс. №1. Гарнитура шрифта «Baskerville». Печать офсетная. Усл.печ.л. 7,75. Учетно изд.л. 5,09. Тираж 1000 экз. Заказ № 141.

Отпечатано в полном соответствии с готовыми диапозитивами в ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие им. В. Гасниева». 362011, г. Владикавказ, ул. Тельмана, 16.



